

ISSN 0869—544X

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ
№ _____ Г.

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

6
1992



• НАУКА •

Славяноведение

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

6

1992

ЖУРНАЛ

ОСНОВАН

В ЯНВАРЕ

1965 г.

МОСКВА

«НАУКА»

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

<i>Кодан С. В., Шостакович В. С.</i> Польская ссылка в Сибирь во внутренней политике самодержавия (1830—1850-е годы)	3
<i>Стыкалин А. С.</i> Идеологическая и культурная экспансия сталинизма в Венгрии (вторая половина 1940-х — начало 1950-х годов)	15
<i>Ланглебен М.</i> Коробкин и Башмачкин	27
<i>Серман Илья.</i> Андрей Белый и поэзия Н. Некрасова	34
<i>Паперный В.</i> Из наблюдений над поэтикой Андрея Белого: лицемерие как текстопорождающий механизм	39
<i>Гаспаров М. Л.</i> Вероятностные ассонансы	45

СООБЩЕНИЯ

<i>Заборовский Л. В.</i> Недооцененный документ Богдана Хмельницкого?	49
<i>Яначек Ф.</i> Заметки о «новом издании» «Репортажа с петлей на шее» Юлиуса Фучика	58
<i>Аншкин А. Е.</i> Из восточнославянско-восточнобалтийских лексических параллелей	64
<i>Иванова Т. А.</i> Памяти А. М. Селищева. Старославянское реть — Супр. р. 400.16	75

МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

<i>Седакова О. А.</i> Церковнославянско-русские паронимы (продолжение)	78
--	----

<i>Бирнбаум Х.</i> Беседа с Борисом Пастернаком	98
---	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Фрейдзон В. И.</i> D. Pavlicević. Hrvatske kućne zadruge, T. 1 (do 1881)	104
<i>Ритчик Ю., Лаптева Л. П.</i> Два мнения об одной книге. Общение литератур. Чешско-русские и словацко-русские литературные связи XIX—XX вв	106-108
<i>Николаева Е. К., Николаев С. И.</i> Słownik literatury staropolskiej. (Sredniowiecze. Renesans. Barok)	110
<i>Филатова Н. М.</i> О просвещении и романтизме. Советские и польские исследования	111
<i>Алексеев А.</i> Die Kuttenger Bibel, 1489	113

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Т. Ф. Андрей Белый</i> и его эпоха	116
<i>Гусев В. Е.</i> Народная культура польского Поморья	117
<i>Морозов Н.</i> Симпозиум с румынскими литературоведами	119
<i>Непомнящая Р. В.</i> Конференция «История и культура»	123
Указатель статей и материалов, опубликованных в 1992 году	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
 А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, М. С. КАШУБА, М. Н. КУЗЬМИН,
 Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВАПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
 М. А. РОБИНСОН, Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), Б. Н. ФЛОРЯ,
 Т. В. ЦИВЬЯН (зам. главного редактора), М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,
 Кошкина Е. А., Мочалова В. В., Осипова М. А.,
 Скворцова Н. М.*



КОДАН С. В., ШОСТАКОВИЧ Б. С.

ПОЛЬСКАЯ ССЫЛКА В СИБИРЬ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ САМОДЕРЖАВИЯ (1830—1850-е годы)

Польская ссылка в Сибирь в 1830—1850-е годы неразрывно связана с историей сибирского политического изгнания деятелей дворянского этапа освободительного движения в России. Используя ссылку в качестве одной из наиболее распространенных репрессивных мер в процессах по делам участников национально-освободительного движения в Царстве Польском, российское самодержавие стремилось удалить в губернии восточных окраин страны лиц, представлявших реальную угрозу для существовавшей системы управления польскими землями в составе Российской империи. Для надзора за «политическими преступниками» (так в официальных документах именовались ссылные поляки) были использованы сибирские карательные учреждения, законодательство о политической ссылке в Сибирь, отработанные ранее в отношении декабристов формы жандармского контроля. Настоящая статья посвящена политико-юридическим аспектам польской ссылки в Сибирь в 30—50-е годы XIX в.; при ее написании авторы опирались на имеющуюся историографию вопроса, а также различного рода источники, включая материалы центральных и местных архивов (см. [1—30]).

Вслед за ссылкой в Сибирь в 1826—1828 гг. декабристов, царизм начал применение этой репрессивной меры к участникам восстания 1830—1831 гг. в Королевстве Польском, а затем и к многим деятелям конспиративных освободительных польских организаций и групп, возникавших на землях бывшей Речи Посполитой и в эмиграции после разгрома этого восстания: «заливщикам» — партизанам так называемой экспедиции Ю. Заливского (1833), представителям отделений организации «Содружество польского народа» — «светокшижцам» (1836—1839) и «конарщикам» (1835—1839), а также организации П. Сцегенного (конец 1830—1844 гг.), эмиссарам эмигрантского «Демократического общества» (1830—1850), участникам восстания 1846 г. в Краковской республике, представителям повстанческих организаций в различных частях расчлененной Польши в 1848 г. и др. [8].

Уже во время подавления восстания 1830—1831 гг. в действовавших против повстанцев царских войсках были созданы военные суды, которые, опираясь на Полевое уголовное уложение (законы военного времени), сослали сотни участников восстания в Сибирь, на каторгу и поселение,

Кодан Сергей Владимирович — канд. юрид. наук, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Екатеринбургской Высшей школы МВД РФ.

Шостакович Болислав Сергеевич — канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Иркутского государственного университета.

отдали в солдатчину. «Главные виновники бывшего в Царстве Польском мятежа» были преданы учрежденному Николаем I 13 февраля 1832 г. Особому уголовному суду, по приговору которого среди прочих в 1834 г. были осуждены к различным срокам каторжных работ (от 10 до 20 лет) «преступники по особенной важности их злодеяний»: П. Высоцкий, Ф. Мальчевский, В. Немоевский и Т. Пшибыльский. Имущество осужденных подлежало конфискации, а дети отдавались в военные кантонисты для воспитания и службы в армии [3, с. 96-97; 21, ф. 24, оп. 3, д. 200; 22, ф. 3, оп. 1, д. 544; 23, ф. 1, оп. 1(п), д. 47; ф. 31, оп. 1, д. 1502].

Повстанцев отправляли в Сибирь пешим порядком с партиями, в которых наряду с уголовниками было немало участников Севастопольского и Новгородского восстаний, «холерных» и «картофельных» бунтов и просто «бунтарей и вольнодумцев» из крестьян и рабочих людей. По данным Тобольского приказа, только в 1831—1835 гг. в Сибирь были сосланы около 900 «политических», среди которых находились жители Царства Польского и западных губерний России, принявшие участие в восстании 1830—1831 гг. Специальной системы для их этапирования, как это было сделано в отношении декабристов, не создавалось. Партии ссыльных отправлялись по так называемой маятниковой системе, проходя пешком расстояние в 8-10 тыс. верст за 1-1,5 года. Некоторые повстанцы, как «важнейшие преступники», доставлялись до Тобольска под жандармской охраной на почтовых, а затем уже шли к местам каторги и поселения пешеэтапным порядком [1; 13, с. 24-40; 15, с. 42; 21, ф. 24, оп. 3, д. 239, т. 1, л. 9-75].

Партии польских повстанцев стали прибывать в столицу Западной Сибири — Тобольск — в январе 1832 г. Одним из первых поступил в Приказ о ссыльных 7 января 1832 г. П. Жеромский, 65-летний шляхтич, сосланный на поселение. На 15 мая 1834 г., как указывалось в подготовленном по приказу генерал-губернатора Западной Сибири «Именном списке о преступниках, участвовавших в польском мятеже», поступили 158 человек. П. Высоцкий и трое его товарищей, осужденные Особым уголовным судом, проследовали через Тобольск в конце 1834 — начале 1835 г. [22, ф. 3, оп. 1, д. 328«б», л. 235—268].

В одних партиях с поляками отправлялись в Сибирь и русские участники польского восстания: прапорщик А. Аникеев, «за измену верноподданнической присяге государю императору и вступление в службу мятежнических войск... по лишении дворянского достоинства сосланный в Сибирь в каторжную работу», И. Грибков, З. Молодинов, Н. Сливцов, И. Васильев, наказанные «за присоединение к мятежникам» шпицрутенами (от 2 до 6 тыс. ударов), другие ссыльные с аналогичными мотивировками виновности и осуждения [22, ф. 3, оп. 1, д. 328«б», л. 244-245].

Этапирование происходило партиями до 200 человек. Ссыльные шли закованными в кандалы: каторжане — в ножные, а ссыльно-поселенцы — в ручные оковы, которыми они все пристегивались к толстой веревке, длинному металлическому пруту, цепи, что называлось «перессылкой по канату». Даже во время сна в тюрьмах ссыльные поляки оставались прикованными группами к общему пруту и никто из них не мог двинуться, не разбудив остальных и не причинив им боли своим телодвижением. Для предупреждения побегов всем каторжанам и поселенцам из «простолюдинов» выбривали половину головы. На одежде ссыльных были нашиты специальные метки. Партии под охраной 25 солдат в любую погоду «по расписанию этапов сибирских» должны были передвигаться от одного полуэтапа к другому, проходя за два дня до 50 верст, а затем останавливались на отдых («дневку») в помещениях очередного этапа. Теснота и неустроенность этапов, болезни и поборы стражи, которые в 1826—1828 гг. испытали декабристы-черниговцы и участники Оренбургского тайного общества, со-

путствовали затем и польским политическим ссыльным [2; 13, с. 25-40; 26].

Повстанец Францишек Кноль (1830—1831) вспоминал об отправке в Сибирь участников восстания: «В Киеве присоединили нас к партии арестантов в количестве 200 человек, некоторых в кандалах, некоторых без них. За нами гнали 40 арестантов, также в Сибирь. Мы, поляки, шли впереди, за нами шел наш конвой, по бокам верховые казаки, далее подводы с нашими узелками. За подводами шли арестанты... По дороге в Сибирь всюду были понастроены этапы. Этапы — это дворы с постройками, которые окружены двойным рядом кольев, по фронтому располагается здание для солдат, с другой стороны — дом для офицеров, в середине же — для проходящих заключенных» [24].

Несмотря на строгость конвоя и то, что пойманных из бегов обычно ссылали на Нерчинскую каторгу, немало ссыльных поляков бежали в пути следования. Одним из распространенных способов побега являлась так называемая сменка, т. е. обмен именами каторжан с поселенцами (часто поляков с русскими) и уход в результате этого из-под контроля властей. Так бежали из шедших по этапам партий А. Шклиньский и Г. Ходыкевич, осужденные в каторжную работу; П. Рожаньский, «не доходя до города Казани, от конвойных бежал, за что и за именование чужими именами по приговору Казанской уголовной палаты, высочайше рассмотренному, наказан публично плетьюми 30 ударами, сослан... в каторжную работу», а впоследствии «за буйственные попытки... во время следования в Сибирь в Тобольске предан суду»; был наказан «за побег в пути следования» политссыльный К. Островский [21, ф. 24, оп. 3, д. 22, л. 25-36; д. 232, т. 2, л. 65; 22, ф. 3, оп. 1, д. 318«б», л. 254-261; 23, ф. 31, оп. 1, д. 2811, л. 58-59, 166-167].

Побеги привели к тому, что министр внутренних дел распорядился, чтобы «на будущее время... государственные преступники по польскому мятежу отправляемые были отдельно при особом надзоре с ясными о роде их преступления сведениями». Первоначально надзор за этапированием политических ссыльных осуществлялся только губернскими правлениями и полицией. Но после 1835 г. в связи с побегами и увеличением численности «политических», следующих в Сибирь, эта функция возлагалась на генерал-губернаторов Сибири и подчиненных им гражданских губернаторов, а также на сибирские жандармские органы [11, с. 54; 12].

В это же время несколько изменили порядок этапирования польских ссыльных. Большинство из них стали перевозить в сопровождении жандармов до Тобольска, где уже формировались партии, препровождаемые пеше-этапным порядком к «местам назначения». Об этом, в частности, дают представления воспоминания Юстыниана Ручиньского (Ручиньского), «конарщика», отправленного по этапу из Киевской тюрьмы 25 февраля 1839 г.: «Я оказался закован в полупудовые (8 килограммов) кандалы, посажен в кибитку между двумя жандармами и увезен в неведомое и неопределенное пространство. ...Путешествие ... до Тобольска продолжалось 20 дней. За это время никто из нас не отдыхал и не только не менял белья, но, закованный в кандалы, не снимал обуви. Только в Тобольске через два дня освободили наши ноги от грубого киевского железа и надели легкие кандалы, пригодные для дальнейшего пешего похода, который нас ожидал». Далее польских ссыльных распределили по отрядам, которые отправляли с отдельными партиями ссыльных. «При этом, — вспоминает „конарщик“, — был отдан весьма счастливый для нас приказ, чтобы не соединяли нас с обычными арестантами, то есть чтобы на марше мы шли за партией, в этапах размещались отдельно... Тут началось существование, которому трудно дать надлежащее название, еще труднее дать о нем точное представление. Кажется, на свете нет уже большей нищеты... Ежедневный

переход в кандалах на 18-25 верст, ночлег в заключении на грязных досках, называемых „нары“, отсутствие белья, одежды и обуви, убогая пища, а затем и совершенный голод, слякоть, жара, мороз, среди которых требовалось идти непременно дальше и дальше, беспрестанный вид арестантов, их жизни, полной самой циничной распушенности, обычно допускаемой подкупленными этапными командами; полная оторванность от прошлого, отсутствие всяких вестей об оставшихся женах и детях и невозможность посылки им хотя бы единого слова, какого-либо знака жизни, тяжелое угнетение тела физическим трудом, а духа беспокойством и грустью — вот бледное изображение тогдашней нашей участи» [27, с. 15-17, 21-22].

Последовавший в Сибирь в 1848 г. участник организации П. Сцегенного Шимон Токажевский писал, что из Варшавы до Тобольска его с товарищами везли в кибитках, а затем образовали группу из 12 ссылаемых поляков, которых в ножных кандалах вели с арестантской партией, насчитывавшей около 70 человек. Только от Тобольска до Томска путь продолжался более трех месяцев. Вместе с тем стражники не были слишком строги к ссыльным и по дороге из Томска даже позволили им снять кандалы [28].

Для немногих полек, сосланных в Сибирь, исключения не делались. Эва Фелинская, отправленная в изгнание по делу Шимона Конарского, отмечала те же трудности пути, что и для мужчин. «Первые дни путешествия казались невыносимыми для меня, которая не может спать во время поездки, — вспоминает Э. Фелинская, — утомление доходило до последнего предела, так, что несколько часов сна сделалось настоящей необходимостью. После двух суток езды, выйдя из саней во время перепрыгания лошадей, я вошла в избу почтовой станции и упала на лавку, чтобы воспользоваться сном хотя бы на пару часов; не уснула, поскольку разум бодрствовал произвольно, возбуждаемый беспокойством, но тело пришло в совершенно болезненное состояние... Почтовый смотритель, русский, отставной офицер, видя мое изнеможение, заставил моего провожатого показать ему инструкции, из которых выяснилось, что поторапливания были злоупотреблением со стороны проводника. Тем самым власть начальства, имея снисхождение к полу и возрасту, ограничила фантазии провожатого, смягчая предписания и вдаваясь в разные непредвиденные происшествия. Отставной офицер читал инструкцию в моем присутствии, а я, таким образом, впредь уже знала свои права, так же как и обязанности. С этого момента путешествие было несравненно более сносным; я делала остановку для сна, как только чувствовала сильную усталость» [29].

Прибывших в Тобольск «политических преступников» распределял расположенный там Приказ о ссыльных. Каторжане поступали на заводы и рудники Восточной и Западной Сибири, поселенцы — в ведение губернских экспедиций о ссыльных, устанавливавших для них конкретные «места водворения». По мере увеличения числа ссыльных и разжалованных в солдаты из числа поляков основную массу изгнанников стали направлять в Восточную Сибирь. В Западной Сибири селились только те из поляков, которые ссылались «за неважные преступления отнюдь не по мятежу». В Восточной Сибири ссыльнокаторжане из числа польских повстанцев посылались главным образом на заводы гражданского ведомства в Иркутскую губернию и лишь несколько человек сразу попали в Нерчинскую каторгу. Поселенцев власти размещали преимущественно в Восточной Сибири, поскольку в Западную были определены рядовыми в Отдельный Сибирский корпус более 2,5 тыс. повстанцев 1830—1831 гг. [16, с. 5-6; 22, ф. 3, оп. 1, д. 318«б», л. 254-261; д. 1213, л. 1-3].

Польские ссыльные отбывали каторжные работы в основном на Иркутском солеваренном, Александровском и Илгинском винокуренных заводах в Восточной Сибири, на Екатерининском винокуренном заводе и в ряде крепостных арестантских рот в Западной Сибири. На солеваренных и вино-

куренных казенных предприятиях ссыльные поляки выполняли самые различные работы: заготовку дров, сена и другие, некоторые наряду со вспомогательными службами несли обязанности писарей, санитаров и т. д. Исследователями уже отмечалось, что расхожее представление о каторге, как об изнурительном труде прикованного к тачке арестанта в мрачных рудниках, далеко не во всем соответствовало реальности; приводились и характерные в этом плане примеры положения различных категорий польских ссыльных, их занятий в Сибири. Поэтому не будем подробно останавливаться на этом. Заметим лишь, что некоторым ссыльным выпадали и наиболее тяжелые виды каторжного труда: при добыче «соляных рассолов» или же поддержании непрерывного равномерного огня в винокуренном производстве. Однако в основном этим занимались уголовные арестанты [7, с. 112-113].

Размещение в местах каторги сопровождалось новой волной побегов. К середине 1835 г. только по Иркутской губернии числились в бегах 27 человек. Причины были различны: тяжесть выполняемых каторжных работ, гнетущий отрыв от Родины и близких, от привычного образа жизни, унижительное, бесправное положение в сибирском изгнании. Следует учитывать и то, что на сибирских каторжных заводах гражданского ведомства складывались благоприятные условия для осуществления попыток вырваться на свободу. Охрана, как правило, являлась малочисленной, разрешались временные отлучки, проживание на квартирах и даже наем за себя в работы. Не удивительно, что побегі сделались обычным явлением. К примеру, полицией был объявлен розыск многих ссыльных повстанцев — Л. Висмунда, А. Вишневого, С. Ройниса, Т. Василицкого, А. Медецкого и других, уже долгое время находившихся в бегах. Характерно, что побегі совершались обычно в первые два месяца по прибытии на работы. Ян Ракитский, например, прибыл на Александровский завод 27 января 1835 г., а 9 марта бежал, Леон(тий) Романовский прибыл на Иркутский завод 31 марта 1835 г., а 4 мая уже начались его розыски, Людвик Янкевич оставил работы всего через 15 дней после прибытия. И хотя побегі польских ссыльных приобрели массовый характер, сибирские власти не усматривали в них чего-либо особенного, поскольку «политические преступники» ими почти не выделялись в общей массе колодников [15, с. 61; 21, ф. 24, оп. 3, д. 232, т. 2, л. 14-20; 23, ф. 31, оп. 1, д. 1108, л. 118, 127].

Ситуация коренным образом изменилась после «Омского дела», когда были раскрыты планы организации восстания переведенных рядовыми в Сибирский корпус и сосланных в Западную Сибирь польских повстанцев. Военно-полевой процесс, проходивший с июля 1833 г. по август 1835 г., вынес приговор, который 31 декабря 1836 г. утвердил Николай I. Непосредственным же толчком к ужесточению режима ссылки «политических преступников» послужил побег в июле 1835 г. с Александровского винокуренного завода шести повстанцев под руководством Петра Высоцкого — одного из организаторов восстания 1830—1831 гг. Этот побег буквально всполюшил местные власти, поскольку во время начавшегося расследования обнаружилось, что в планы бежавших входило «присоединить к себе из ... заводов польских преступников и инвалидных чинов ... обезоружить пикеты, по Московскому тракту расположенные, завладеть ружьями и патронами», а конечной целью было «пробраться через Бухарию в Польшу». Стало также известно, что ссыльные имели реальную возможность общаться друг с другом, посещали другие заводы, жили по несколько человек в одном приобретенном за собственный счет доме [10, с. 5-24; 15, с. 12-15; 16, с. 3-40].

О случившемся доложили в Петербург, откуда 26 августа 1835 г. последовало распоряжение военного министра А. И. Чернышева о предании виновных военному суду по Полевому уложению. Участники побега сек-

ретным порядком спешно были отправлены на Нерчинский завод, где при охранявшем Нерчинские заводы 15-м линейном Сибирском батальоне была учреждена следственная комиссия под председательством командира батальона Гурова. Контроль за разбирательством дела поручался коменданту С. Р. Лепарскому. С 31 октября 1835 г. начались допросы по делу Высоцкого, а 14 ноября была открыта комиссия военного суда, завершившая в январе 1836 г. работу вынесением приговора. Решение суда по делу утвердил С. Р. Лепарский, а затем, окончательно, генерал-губернатор Восточной Сибири С. Б. Броневский. Участников побега приговорили к унижительным телесным наказаниям и «употреблению в работу» на нерчинских заводах и рудниках. Примечательно, что в то время, как все товарищи П. Высоцкого в соответствии с законом работали прикованными к тачке в течение четырех месяцев, после чего были освобождены от оков и от тачек и получили право проживать на частных квартирах, являясь ежедневно на работы, сам Высоцкий, хотя и без оков, находился в заключении в Акатуевском тюремном замке с 4 сентября 1835 г. по 2 ноября 1856 г. При этом, в отличие от всех содержащихся в тюрьме, о которых в особых ведомостях указывались различные сроки наказания (от 5 до 12 лет), в отношении Высоцкого значилась неопределенная формула — «до исправления нравственности». Здесь же с 9 апреля 1841 г. находился и умер 3 декабря 1845 г. декабрист М. С. Лунин. Благодаря помощи Высоцкого и находившихся в тюрьме его товарищей-поляков, Лунин смог установить переписку с декабристами, находящимися на поселении, несколько улучшить условия заключения [9; 19, ф. 109, III отд., 1 эксп., 1835, д. 180, л. 9-12; 23, ф. 31, оп. 1, д. 1342, л. 582-583; д. 1394, л. 113-116, 247-248, 414-419].

После «Омского дела» и организованного П. Высоцким побега сибирские власти приняли энергичные меры к усилению надзора за сосланными на каторгу «политическими преступниками». Уже в июне 1835 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Броневский отдал весьма категоричное распоряжение гражданским губернаторам Иркутской и Енисейской губерний. «По случаю известного ... побега с Александровского винокуренного завода шести человек польских мятежников, осужденных в каторжную работу, признавая не только нужным, даже необходимым всех таковых польских мятежников и вообще людей, осужденных в каторжную работу за преступления противу правительства, но находящихся распределенными по винокуренным и солеваренным заводам Иркутской и Енисейской губерний, отправить в Нерчинские горные заводы», Броневский предлагал управителям вышеназванных губерний «сделать об этом распоряжение». «Кто же по сему откуда будет отправлен в Нерчинские заводы, прошу сообщить мне подробный список с описанием преступлений», — добавлял он. Одновременно Тобольскому приказу о ссыльных было дано предписание «преступников означенного рода ... высылать всех в губернию Иркутскую, и не в арестантских партиях, а особенно», и отправлять их далее немедленно в Нерчинские горные заводы, сообщая о том генерал-губернатору Восточной Сибири [21, ф. 24, оп. 3, д. 232, т. 1, л. 1-2].

12 октября 1835 г. Броневский уведомил военного министра о том, что «все поляки, осужденные в каторжную работу, и некоторые присланные на поселение, находившиеся по заводам в Иркутской и Енисейской губерниях, для отнятия у них средств к побегам отправлены за строгим караулом порознь за Байкал в Нерчинские рудники, по сторонам от большой дороги... Начальнику Нерчинских заводов дано мною полное наставление, какой внимательный надзор должен быть за такими преступниками и какой ответственности будут подлежать управляющие рудниками за упуск и слабое обхождение с ними». При этом генерал-губернатор выражал надежду на то, что серьезной преградой для побегов польских ссыльных должны послужить «Байкал и горные голодные пустыни, не доставляющие средств

без твердого знания местности проникнуть сюда», а также «выслеживание беглых в самых непроходимых местах» «кочевыми бурятами и тунгусами», которых сибирская администрация явно хотела бы настроить против «политических преступников». Не забыли власти предупредить и возможность каких-либо сношений польских ссыльных с декабристами на Петровском заводе [17; 21, ф. 24, оп. 3, д. 5, л. 10-11].

С января 1836 г. политических ссыльных поляков отправляли специальными партиями по пять, а затем, ввиду нехватки конвойных, по 15 человек, одновременно с уголовными. Всего в Нерчинский округ были переведены свыше 50 человек, а около 20 человек оставлены небольшими группами на заводах Восточной Сибири. Оказалось значительно сокращено и количество политкаторжан на заводах Западной Сибири, поскольку власти усмотрели в тех местностях «еще большие удобства к побегу».

В 1830-х годах был образован Сибирский жандармский округ, сибирские генерал-губернаторы особым секретным рескриптом императора получили право выносить смертные приговоры за «преступления политического характера» [5; 14, с. 192-194; 20, ф. 31, оп. 1, д. 11504, л. 1-4, д. 11506, л. 1-12].

Нерчинская каторга, следовательно, стала основным местом размещения польских повстанцев 1830—1831 гг. и участников экспедиции Ю. Заливского, получивших наиболее тяжелые наказания. Закованных в ножные кандалы польских ссыльных под усиленной охраной развезли по заводам, рудникам и промыслам Нерчинского горного округа. 30 человек, принимавших наиболее активное участие в ноябрьском восстании, были выделены в особую категорию и ежемесячно вносились в «список о польских уроженцах, находящихся при Нерчинских заводах, сосланных за политические преступления в каторжную работу». Впоследствии сюда же стали направляться и польские ссыльные за причастность к последующим конспиративным организациям и группам. Надзор за каторжанами возглавлял горный начальник Нерчинского округа (он же начальник каторги), а непосредственный контроль возлагался на управляющих рудниками и заводами, приставов, горную полицию. Донесения о повстанцах ежемесячно собирались на Нерчинском заводе, а затем направлялись в Иркутск. Три раза в год подробные списки шли в III Отделение и Министерство внутренних дел. Горное начальство было предупреждено, что если «от небрежения и слабого надзора кто из тех людей сбежит, то управителей неминуюмо предадут суду и строгому по закону взысканию, ибо таковые преступники могут причинить важный вред государству... о бежавших же или умерших доносить ... как о происшествии». Строгие меры контроля и охраны, введенные на Нерчинской каторге, сделали свое дело. Побег с заводов Иркутской и Енисейской губерний, ставшие было привычным явлением, в новых условиях уже не столь легко удавались. Полностью прекратить побег власти все же не смогли [11, с. 71].

Вопросы занятий поляков на казенных работах, характера этих работ, устройства повседневного общежития и быта «политических преступников» на Нерчинских заводах, а также история возникновения и существования на Большом Нерчинском заводе так называемого Огула выгнаницув, являвшегося своеобразным центром польского землячества, составляют важные компоненты историко-правового исследования польской политической ссылки первой половины XIX в. Несомненно, еще многие аспекты этой проблематики нуждаются в специальном изучении, но первоначальное освещение она уже нашла в ряде работ, к которым авторы данной статьи и отсылают читателя [6; 7, с. 118-122].

В обеспечении каторжного режима важное место властями отводилось соблюдению строгой изоляции ссыльных польских патриотов от Родины. Законодательство запрещало каторжанам писать письма и даже иметь

чернила и бумагу. Польские ссыльнокаторжане были подчинены общим с декабристами правилам переписки. Родственники могли направлять им корреспонденцию, посылки и деньги, но не общим порядком, а через посредство властей. Затем корреспонденция проходила по инстанциям: через III Отделение (где она перлюстрировалась), губернскую администрацию и начальство Нерчинской каторги. После тщательной проверки письма и посылки вручались адресатам полицейскими чинами под расписку. В посылках ссыльные получали продукты, одежду, книги, некоторым из них направлялись и значительные денежные переводы, иногда по несколько сот рублей в месяц. Деньги хранились в заводских казначействах и выдавались ссыльным небольшими частями после подтверждения прежних расходов. «Односторонняя связь» в ряде случаев создавала условия для бесконтрольности и хищений содержимого посылок и денежных переводов [4; 20, ф. 35, оп. 9, д. 102, л. 161-162; 21, ф. 24, оп. 3, д. 1, л. 1; д. 181, л. 1-5; д. 432, л. 12-13; 23, ф. 31, оп. 1, д. 1285, л. 9-10; 25, с. 119-127].

Поляки-каторжане различных годов ссылки, несмотря на рассредоточение, быстро устанавливали связи друг с другом, а подчас и со своими русскими собратьями по изгнанию, оказывали посильную помощь друг другу. Так, соратник Г. Эренберга «свентокшижец» А. Белинский получил помощь и поддержку обосновавшегося в Нерчинском заводе «конарщика» А. Бопрэ. Последний же добился передачи 25 рублей для поддержки заключенного в Акатуе П. Высоцкого. В свою очередь П. Высоцкий, как о том сообщали польские ссыльные, оказывал помощь декабристу М. С. Лунину, с которым его связала большая дружба [7, с. 113; 10, с. 26-28; 23, ф. 31, оп. 1, д. 1285, л. 445-446].

Большинство повстанцев 1830—1831 гг. пребывали на каторге до начала 1851 г., когда до Сибири дошло высочайшее «повеление» (в связи с 25-летием царствования Николая I) об освобождении каторжан по истечении 20 лет после восстания и о переводе их на поселение. Данный указ не касался тех, кто в упомянутое 20-летие совершил побег или иные «законопротивные» проступки [23, ф. 31, оп. 1, д. 1342].

Значительное число участников ноябрьского восстания и «прикосновенных» к политическим делам о конспиративных польских организациях первой половины XIX в. было сослано в Сибирь на поселение по суду, а также в административном порядке на жительство, гражданскую и военную службу в сибирских гарнизонах. Поселенцы были размещены преимущественно в Западной Сибири, а также в Енисейской и частично в Иркутской губерниях. Что касается каторжан, то они по мере освобождения от работ в основном расселялись на территории Нерчинского горного округа, а также в небольших селениях Восточной Сибири [21, ф. 24, оп. 3, д. 239, т. 1, л. 146, 155, т. 2, л. 1-95; д. 291, л. 1-31].

Положение находившихся на поселении польских политссыльных определялось правилами, установленными в 1826 г. для декабристов. Однако, как отмечало и само III Отделение, «некоторые из постановлений о государственных преступниках, находящихся на поселении (т. е. декабристах.— С. К., Б. III.) не распространены на преступников политических (т. е. польских политссыльных.— С. К., Б. III.) и оттого последние состоят под меньшими ограничениями, нежели первые. Разность эта заключается в особенности в том, что государственные преступники переводятся из места в место только с Высочайшего разрешения, не могут отлучаться из мест водворения далее пределов своей волости, предпринимать обширных оборотов, выходящих из быта крестьян, поступать в услужение к частным лицам по истечении 10 лет бытности на поселении, могут переходить в крестьяне не иначе, как по Высочайшим на каждый случай повелениям; на политических же преступников правила сии не распространены». В 1840-х годах «один из гражданских губернаторов Сибири, принимая во

внимание, что все другие постановления насчет государственных преступников, например, о надзоре за ними, пособий от казны и частных лиц и проч., отнесены и к политическим преступникам, предложил вопрос, не следует ли распространить на них и все прочие постановления о государственных преступниках». На эту тему возникла переписка шефа корпуса жандармов Орлова с сибирскими генерал-губернаторами [21, ф. 24, оп. 3, д. 145, л. 1-3].

Весьма любопытно в этой связи мнение Орлова. По его словам, «рассмотрение сего вопроса, хотя привело к тем рассуждениям, что в сущности политических преступлений, когда бы оные не произошли, 14 декабря 1825 г. или после, нет никакой разницы, и потому справедливость требовала бы, чтобы политические преступники подлежали всем ограничениям государственных, но при этом случае сделано то не менее справедливое замечание, что если местные сибирские начальства находят меры, доселе принимаемые относительно политических преступников, вполне достаточными, то нет причины стеснять более их положение». «Не приступая по предмету сему ни к какому распоряжению», Орлов запрашивал мнение сибирских генерал-губернаторов, признают ли они «меры, ныне существующие относительно политических преступников в Сибири, достаточными, или на них следует распространить все правила о государственных преступниках». На это последовал ответ, в частности, генерал-губернатора Восточной Сибири Руперта, который среди прочего указывал на то, что «политические преступники, как видно то из отзывов гг. губернаторов, вообще ведут себя очень хорошо», и «нет ... никакой существенной надобности ... подчинять их ныне особым правилам, для государственных преступников постановленным» [11, с. 84-86; 21, ф. 24, оп. 3, д. 145].

Ссылка на поселение, вполне естественно, предусматривала известные ограничения личной свободы «политических преступников». Им, например, разрешалось, в отличие от ссыльнокаторжан, переписываться с родственниками, но под строгим наблюдением властей. По этому поводу даже было прислано из III Отделения довольно-таки курьезное распоряжение: «От государственных и политических преступников, находящихся в Сибири, весьма часто получают письма к их родственникам, чрезвычайно слитно и бледными чернилами писанные, так что невозможно разбирать оные; а потому ... приказать объявить всем означенным преступникам ... дабы они писали письма своим самым разборчивым почерком, и что в противном случае письма их не будут отправляться по адресу». У высшей администрации нашлись и достойные исполнители на местах. Иркутский гражданский губернатор не только довел до сведения всех ссыльнопоселенцев приведенную инструкцию, но и поспешил с собственным ходатайством о назначении в губернское управление доверенного переводчика с польского и французского языков, на которых «большой частью» ведется переписка «политическими». На это последовал отказ генерал-губернатора Руперта, напомнившего, что письма и так «рассматриваются при подаче ... и отправлении оных на почту» [21, ф. 24, оп. 3, д. 175, л. 1-4].

Определенные распоряжения о строгом соблюдении тех или иных ограничений в соответствии с правовым статусом ссылки на поселение время от времени отдавались и сибирской администрацией. Эти указания и инструкции, как правило, не приобретали характера единых и постоянно действующих актов. На практике положение «политических преступников» чаще всего определялось сложившейся традицией и системой прецедентов, нередко отступавших от предписаний центра. Это было хорошо известно и самим ссыльным полякам. Описывая жизнь поселенцев, ссыльный по делу III. Конарского Эугениуш Жмиевский прямо заявлял: «По прибытии в Сибирь поселенцы всегда назначаются в деревню, но они редко там находятся, ибо каждому оставлено право взять оттуда паспорт с целью

поиска для себя занятия и способа к пропитанию. Значительная их часть занимается в городах различными ремеслами, многие же, привлеченные потребностью в живой деятельности, с одной стороны, и высокими заработками — с другой, работают на частных золотых приисках» [30].

Р. Пётровский посвятил значительный отрывок воспоминаний подробному рассмотрению различных аспектов положения ссыльнопоселенца в Сибири, особенно выделяя морально-правовую сторону этого вопроса. «Наиболее счастливым из поселенцев,— пишет он в частности,— является человек простого происхождения: тот сразу же вливается в общество, в которое прибыл, женится, обзаводится детьми и живет по-божески. Иное дело поселенец высокого положения и образования. Этот морально является истинным мучеником: выброшенный из среды (равных себе) людей, к которой привык, и которая здесь в Сибири может им пренебрегать и помыкать как человеком, обездоленным в правовом отношении, не смеет иметь никаких перспектив, никаких предъявить претензий..., ибо он поселенец, что значит в России почти не человек». «Если кто и виновен в этой безнравственности и должен быть за нее наиболее ответственным, то это царь, его сатанинское правление и его политика»,— заключает Пётровский [27, с. 314-316].

Сибирская администрация пыталась обеспечить изоляцию польских ссыльных путем формирования соответствующего отношения к «политическим преступникам» со стороны местного населения. При этом резко бросалась грань в отношении к уголовным и политическим ссыльным. Константин Волицкий, сосланный на поселение по делу «заливщиков», подчеркивал, что «неполитический изгнанник в Сибири является совершенно свободным и безвредным, с ним можно знаясь и дружить, не выходя за это плохо (в глазах общественного мнения.— С. К., Б. Ш.). Его называют „несчастный“, а на вопрос, за что он оказался сослан, отвечают „за шалости“. Политического же преступника, напротив, называют „государственный преступник“, он оказывается под постоянным надзором полиции, знакомство с ним небезопасно, поскольку он может заразить другого своим образом мыслей, поэтому никто не отваживается признаться в своем знакомстве с ним, а если его даже любят и уважают как человека, им нужно, никогда публично не принимают его дома, а на улице не приветствуют, только иногда примут его в домашнем кругу или в обществе надежных друзей, а все это из опасения компрометации в глазах правительства» [25, с. 110—111].

В 1835 г. специальным императорским «повелением» была предоставлена «льгота» для декабристов-поселенцев, заключающаяся в «отводе» им по 15 десятин пахотной земли близ мест их жительства, которая в начале 1838 г. была распространена и на поселенных польских мятежников. В этот же период поляки-ссыльнопоселенцы получили и ряд других льгот, в том числе право на пособие для лиц шляхетского происхождения (поселенцев «простого звания» царская «льгота» не затрагивала и они могли рассчитывать только на самих себя) [14, с. 211-233; 21, ф. 24, оп. 3, д. 255, л. 1-27].

Сосланным в Сибирь полякам разрешалось вступать в брак с последовавшими за ними из Польши невестами, а также местными сибирячками. Выезд жен «политических преступников» в Сибирь являлся практически связан с теми же трудностями, что и жен декабристов, поскольку их правовой статус был уравнен. Распоряжением III Отделения от 27 ноября 1842 г. вводился порядок, согласно которому «гражданские губернаторы Западных губерний, в случае разрешения ими какой-либо из жен политических преступников отправиться к мужу своему, сосланному в Сибирь как в Западную, так и в Восточную, тотчас же извещали о сем тамошнего местного генерал-губернатора и, вместе с тем, для предупреждения и постановления в известность таковых жен о предстоящем их положении, объявляли с подпискою каждой из них пред выездом ее в Сибирь, что на

основании существующих постановлений она по прибытии туда должна будет подвергнуться одной с мужем участи, отказываясь от всех настоящих ее прав, и что возвращение из Сибири не прежде может быть ей разрешено как по смерти мужа; буде же она имеет детей, прижитых с ним в дворянском его состоянии, то таким следовать с нею в Сибирь дозволено не будет». При отказе от подписки не разрешалось даже временное свидание, а жены возвращались обратно. Практически и смерть мужа не давала права на выезд. Вдовам оставляли только земельный надел и часть пособия мужей [19, ф. 109, III отд., 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 3, л. 1-2; ч. 7, л. 134; 21, ф. 24, оп. 3, д. 15, л. 1-4; д. 159, л. 1-7].

Однако в пределах Сибири жены ссыльных поляков имели более широкие права, чем жены декабристов. Это, в частности, подтверждает прецедент с прощением жены политического преступника А. Рошковского разрешить ей отправиться по делам своим и мужа в Нерчинский округ, для чего требовался соответствующий «вид» — разрешение, позволяющее получить подорожную на беспрепятственный проезд и проживание в Нерчинском округе. Иркутский гражданский губернатор поначалу отказался удовлетворить просьбу, ибо «жены политических преступников ... подвергаются одинаковой участи с женами государственных преступников, следовательно, всякая отлучка с места жительства жен политических преступников ... должна быть не иначе, как с предварительного высочайшего разрешения». Сомнения гражданского губернатора разрешил генерал-губернатор Восточной Сибири Руперт, давший следующее толкование возникшему вопросу: «Вид ... должен быть выдан на том основании, как выдаются виды на временные отлучки в пределах Сибири женам обыкновенных ссыльных, пришедшим сюда за своими мужьями по собственной воле... что находящиеся в Сибири польские преступники, известные под названием политических, считаются не наравне с преступниками, состоящими под названием государственных ... кроме того, что касается корреспонденции, ... в правилах сказано, что жена политического преступника „должна будет подвергаться одной с мужем участи“, а не одинаковой участи с женами государственных преступников» [21, ф. 24, оп. 3, д. 107, л. 1-3, 7-8].

В рассматриваемый период некоторые из польских политических ссыльных получили по особым повелениям Николая I разрешение вернуться «на прежнее место жительства к семейству», а некоторым были даже возвращены «прежние чины дворянства и имение». Это явилось следствием того, что при дополнительном расследовании их «степень вины открывалась в меньшей мере, нежели представлялось по прежнему ... делу». Известное смягчение прежних наказаний, а для отдельных ссыльных и полное помилование приурочивались к знаменательным для императорской фамилии датам, в частности, к бракосочетанию цесаревича (апрель 1841 г.) и уже упоминавшемуся 25-летию царствования Николая I (1851).

Большинство ссыльных участников польского освободительного движения оставались в Сибири вплоть до 1856 г., когда уже после смерти Николая I вступившим на престол Александром II была «дарована» в манифесте 26 августа «амнистия политическим преступникам», томившимся в сибирском изгнании [3, с. 109-110; 23, ф. 31, оп. 1, д. 2821, л. 25-27, 388].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анушин Е. Н. Исследование о проценте сосланных в Сибирь в период 1827—1846 гг. СПб., 1873, с. 18-22.
2. Горбачевский И. И. Записки, письма. М., 1963, с. 105-108.
3. Государственные преступления в России в XIX в. Т. 1. СПб., 1906.
4. Дамешик Л. М., Кодан С. В. Система контроля за перелиской ссыльных дворянских революционеров в Сибири. — В кн.: Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. — февраль 1917 г.). Вып. 9. Иркутск, 1985.

5. Дамешек Л. М., Кодан С. В., Шавров А. В. Материалы жандармских ревизий 1831—1832 гг. как источник изучения деятельности сибирского аппарата управления.— В кн.: Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск, 1988, с. 118-126.
6. Дьяков В. А. Революционная деятельность и мировоззрение Петра Сщеченного (1801—1890 гг.). М., 1972, с. 140—141.
7. Дьяков В. А. Польская ссылка эпохи декабризма.— В кн.: Сибирь и декабристы. Вып. 1. Иркутск, 1979.
8. Дьяков В. А. Освободительное движение в России, 1825—1861 гг. М., 1979, с. 159-172.
9. Дьяков В. А. Смерть декабриста Лунина.— Вопросы истории, 1988, № 2.
10. Дьяков В. А., Кацнельсон Д. Б., Шостакович Б. С. Петр Высоцкий на сибирской каторге (1835—1856)— В кн.: Ссылные революционеры в Сибири (XIX в.— февраль 1917 г.). Вып. 4. Иркутск, 1979.
11. Кодан С. В. Политическая ссылка в системе карательных мер самодержавия первой половины XIX в. Иркутск, 1980.
12. Кодан С. В. Управление политической ссылкой в Сибири (1825—1856 гг.). Иркутск, 1980, с. 18.
13. Кодан С. В. Устав об этапах 1822 г.— В кн.: Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. Иркутск, 1982.
14. Кодан С. В. Сибирская ссылка декабристов (Историко-юридическое исследование). Иркутск, 1983.
15. Марсимов С. В. Сибирь и каторга: Политические и государственные преступники. Ч. 3. СПб., 1871.
16. Нечаев А. С. «Омское дело» (1832—1833 гг.)— В кн.: Вопросы историографии и социально-политического развития Сибири (XIX—XX вв.). Вып. 1. Красноярск, 1976.
17. Шостакович Б. С. Политические ссылки поляки и декабристы в Сибири.— В кн.: Ссылные революционеры в Сибири (XIX в.— февраль 1917 г.). Вып. 1. Иркутск, 1973, с. 255—256.
18. Полное собрание законов Российской империи.
19. ЦГАОР.
20. ЦГВИА.
21. Государственный архив Иркутской области.
22. Государственный архив Омской области.
23. Государственный архив Читинской области.
24. Knoll F. Pamiętniki ze Syberyi. Poznań, 1883, s. 12-13.
25. Wolicki K. Wspomnienia z czasów pobytu w cytadeli Warszawskiej i na Syberyi. Łwów, 1876.
26. Piotrowski R. Pamiętniki z pobytu na Syberii. T. 2. Poznań, 1861, s. 151-152.
27. Ruciński J. Konarszczycy 1838—1878. Pamiętniki zesłańców na Sybir. Łwów, 1895.
28. Tokarzewski Sz. Siedem lat katorgi. Pamiętniki. 1846—1857 r. Warszawa, 1907, s. 61-62, 71-74, 83.
29. Felińska E. Wspomnienia z podróży, pobytów Berezowie i w Saratowie. T. 2. Wilno, 1852, s. 6-7.
30. Zmijewski E. Sceny z życia koczującego. T. 1. Warszawa, 1859, s. 163.



ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПАНСИЯ СТАЛИНИЗМА В ВЕНГРИИ (вторая половина 1940-х — начало 1950-х годов)

Когда в июле 1945 г. главы держав антифашистской коалиции собрались в Потсдаме, Сталин, пытаясь развеять опасения союзников за судьбы демократии на востоке Европы, заявил на встрече с ними: «У нас нет и не может быть таких целей... как навязывание своей воли и своего режима... народам Европы, ждущим от нас помощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе... и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят» [1]. Годом позже в письме к премьер-министру Венгрии Ф. Надю он заверял: «Мы бы изменили нашей идеологии, мы бы дезорганизовали ряды нашей партии, если бы мы не уважали малые нации, если бы мы не уважали их права, их независимость, если бы мы пытались вмешиваться в их внутренние дела» (цит. по: [2, 1951, 28 VIII]).

Почему в 1945—1946 гг. советское руководство неизменно заявляло о своем невмешательстве во внутренние дела восточноевропейских государств? В какой мере утверждения советских лидеров соответствовали стратегическим устремлениям СССР в его внешней политике и какую роль в них играли сиюминутные тактические соображения?

В 1945—1947 гг., когда выбор дальнейших путей развития в большинстве из стран региона еще не состоялся окончательно в пользу «социалистической ориентации» и когда за буржуазной альтернативой еще стояли мощные внутренние силы, Сталин неустанно афишировал себя как сторонника многовариантности продвижения к социализму¹. В дальнейшем, когда вероятность капиталистической альтернативы в странах Восточной Европы заметно снижается, меняется и фразеология. Хотя слова о «национальных особенностях» продолжали оставаться общим местом в официальных заявлениях советской стороны, конкретное содержание специфики отдельных стран, как правило, не раскрывалось; в то же время основной акцент стал делаться на общем в закономерностях «социалистического строительства», необходимости заимствования советского опыта². Об усилении гегемонистских тенденций в политике сталинского руководства особенно наглядно свидетельствовало Совещание представителей некоторых коммунистических партий Европы в Польше (сентябрь 1947 г.). Вследствие советского диктата на совещании были приняты резолюции, подвергшие, в частности, необъективным нападкам европейскую социал-демократию.

Стыкалин Александр Сергеевич — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Среди прочих выступлений можно вспомнить его интервью английской газете «Daily Herald» (август 1946 г.) о возможности двух путей к социализму — «русского» (более короткого, но и более кровавого) и «английского», более длительного [3].

² См. очень показательную самокритику акад. Е. С. Варги [4], признавшего «ошибки» своей вышедшей в 1946 г. монографии «Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны». В этой работе Варга, хотя и очень робко, пытался провести мысль о возможности эволюционного продвижения стран Восточной Европы от капитализма к социализму.

На принятие этих резолюций несомненно повлияла атмосфера начавшейся в 1946 г. «холодной войны». Говоря о главных причинах ухудшения отношений между недавними союзниками по антифашистской коалиции, было бы, конечно, неправомерным сводить все только к злой воле Сталина. За позицией каждой из сторон стояли политические интересы, отраженные в соответствующих доктринах. Советское правительство заботил вопрос о гарантиях безопасности западных рубежей СССР. Согласно сталинской внешнеполитической доктрине, существование в странах Восточной Европы буржуазно-демократических режимов, стремящихся к добрососедским отношениям с Советским Союзом и склонных учитывать в своей внешней политике государственные интересы СССР, было недостаточной гарантией безопасности. Идеальное решение вопроса выделось в установлении в этих странах режимов советского типа, находящихся в вассальной зависимости от СССР и способных во имя его интересов пренебречь интересами собственных народов³. Западные политики, не питавшие иллюзий в отношении сталинского режима (например, У. Черчилль), в свою очередь, считали необходимым не допустить «сталинизации» Восточной Европы, видели в этом угрозу судьбам буржуазной демократии и на западе континента. Бескомпромиссность обеих сторон в претворении собственных внешнеполитических доктрин приводила к усилению конфронтации, причем в орбиту конфликта наряду с великими державами вовлекались на той или иной стороне и малые страны — будущие участницы двух противостоящих блоков — НАТО и Варшавского договора.

В обстановке резкой конфронтации любые попытки самостоятельного решения принципиальных вопросов национального развития в странах «народной демократии» наталкивались на все более жесткий прессинг со стороны советского руководства, поле возможностей независимого выбора путей продвижения к социализму в этих условиях резко сузилось. Сталинскую нетерпимость к инакомыслию «в едином союзе», стремление беспощадно подавить любые центробежные тенденции внутри единого лагеря особенно наглядно продемонстрировал советско-югославский конфликт 1948 г., преподнесший странам «народной демократии» своего рода «урок послушания», показав, чем может для них обернуться даже самое элементарное, как в случае с Югославией, неподчинение сиюминутным сталинским требованиям, не говоря уже о принципиальных отклонениях от предписанных Сталиным моделей развития. Обеспокоенные руководители восточноевропейских компартий уже с лета 1948 г. предпринимают попытки пересмотреть свои прежние концепции продвижения к социализму в целях устранения каких бы то ни было разногласий между собственными программами и доктринами ВКП(б). Планы медленного, постепенного продвижения к социалистическому обществу при условии сохранения демократических институтов к 1949 г. были окончательно отвергнуты, выбор был однозначно сделан в пользу сталинской модели [7].

Более кратковременное, чем в СССР, господство сталинского тоталитаризма (в его предельно жестком, «дооттепленном» виде) было в этих странах, однако, подчас не менее губительным для наций и их культур.

³ Вмешательство СССР в венгерские события 1956 г. и чехословацкие 1968 г. свидетельствовало о том, что эта внешнеполитическая доктрина оставалась господствующей и в пост-сталинскую эпоху. На уязвимость советской внешнеполитической доктрины 40—80-х годов даже с точки зрения интересов СССР указывали еще в 40-е годы некоторые наблюдатели не только на западе, но и на востоке Европы. Так, крупный венгерский ученый-политолог И. Бибо писал в 1946 г.: «Правительство, не стремящееся во всем перенять советскую модель и в то же время опирающееся на полную поддержку населения в самой стране, в большей мере отвечало бы интересам СССР, нежели то правительство, которое стремится во всем копировать советскую систему, не пользуясь при этом той же внутренней поддержкой, и вызывая тем самым постоянную озабоченность СССР, требуя неизменного присутствия советских войск» [5]. Расчеты Бибо на благоразумие советских лидеров не оправдались ни тогда, ни десятью годами позже, когда тот же Бибо (теперь уже министр юстиции в революционном правительстве И. Надя) повторил примерно те же слова в своем знаменитом меморандуме мировой общественности, сделанном от имени законного венгерского правительства сразу после советской оккупации, 4 ноября 1956 г. (см. [6]).

Особенно показателен в этом смысле опыт Венгрии, где попытки максимального приближения к советским образцам и канонам (как в политике, так и в культуре) вызвали острое противодействие внутри страны, стали главнейшей из причин национальной трагедии 1956 г.

Процесс, о котором речь пойдет ниже, в западной политической литературе еще в 50-е годы был назван «советизацией» культуру восточноевропейских народов [8]. Как проходила «советизация» в Венгрии? Какая роль в процессе внедрения советских образцов принадлежала органам культурной политики в самой стране и насколько активна была деятельность СССР по пропаганде в Венгрии советской культуры? Ответы на эти вопросы необходимы не только для понимания сути режима Ракоши, но и для выявления роли советского фактора в событиях 1956 г., имевших всемирное значение как первая в истории демократическая революция в стране, декларировавшей разрыв с капитализмом и переход к созданию общества «нового типа».

Выбор новых путей общественного развития, осуществленный в 1945 г., неизбежно означал переоценку многих ценностей, казавшихся незыблемыми, осмысление под новым углом зрения всей национальной истории, смену акцентов в национальном культурном наследии и ориентаций во внешних культурных связях. Крах идеологии германского фашизма повлек за собой и известное ослабление уз, издавна связывавших венгерскую нацию с немецкой культурой. Умонастроение значительной части венгерской (так же, как, впрочем, и чехословацкой) интеллигенции отличало определенное стремление преодолеть односторонность немецкого культурного влияния, расширить горизонты национальной культуры за счет приобщения ее к новым источникам развития, нахождения иных ориентиров в духовном опыте человечества. Большой интерес в интеллектуальных кругах проявлялся к налаживанию культурных связей с Великобританией, Францией и США, активизировали деятельность венгерско-английское и венгерско-французское культурные общества [9].

В то же время пути обновления венгерской культуры часто виделись в притоке свежих сил из Советского Союза. «Перед нами распахнулись ворота Востока, и мадьяры сейчас с освобожденной и жадной душой обратились к источникам своей древней родины», — писал в 1945 г. далекий от симпатий к марксизму и впоследствии эмигрировавший литератор Л. Зилахи ⁴[10, д. 115, л. 14]. Интерес к русской и советской культуре, который всего через несколько лет стал искусственно подогреваться режимом Ракоши, насильственно насаждавшим в Венгрии эту культуру в ее далеком не лучших образцах, был в первые послевоенные годы более естественным, проистекавшим из глубоких потребностей венгерской нации в переломный момент истории заново осмыслить свое место в Центральной Европе, на перепутье между Востоком и Западом.

Фотовыставку об СССР в день ее открытия, 14 июля 1945 г., посетили 2,5 тыс. человек [10, д. 115, л. 5]. Журнал венгерско-советского культурного общества «Jövendő» («Будущее») уже в первые месяцы своего существования достиг большого по тому времени тиража в 50 тыс. экз. [10, д. 115, л. 6] (необходимо иметь в виду, что это было в еще относительно свободном от

⁴ О советской культуре как противовесе германизаторским устремлениям хортистов, способствовавшим в годы второй мировой войны «пристегиванию» Венгрии к военной колеснице «третьего рейха», писали в то время многие. «Величие советского строительства, техническая мысль, искусство СССР помогут нам освободиться от односторонности германского влияния», — отмечала, например, некоммунистическая газета «Kossuth népe» [10, д. 115, л. 13]. Вследствие недостаточной связи с СССР «мы не могли найти противоводействие против реакции и немецкого влияния, что отравляло наш народ ядом клеветы и подстрекательства», — указывалось в обращении учредительного собрания венгерско-советского культурного общества [10, д. 118, л. 8—10]. Характерен особый интерес венгров к судьбе родственных угро-финских народов, проживавших в СССР. Венгерско-советское культурное общество обращалось в Москву с просьбой оказать содействие в подготовке антологии литератур угро-финских народов СССР [10, д. 113, л. 48].

сталинского диктата 1946 г., когда подписка на прессу, пропагандирующую реальные и мнимые достижения СССР, не носила кампанейского характера). По данным социологических исследований того времени, в Будапеште этот журнал, хотя и нерегулярно, читал каждый второй [10, д. 118, л. 35—38]. 40% опрошенных в 1946 г. знали о деятельности венгерско-советского культурного общества, имевшего к тому времени несколько десятков провинциальных отделений; 50% регулярно слушали радиопередачи о Советском Союзе; 92% считали необходимым поддерживать культурные связи с СССР [10, д. 118, л. 35—38]. Количество курсов и кружков по изучению русского языка достигло к 1946 г. 54 [10, д. 113, л. 22], тогда как в годы хортизма функционировал, по некоторым сведениям, всего один такой кружок — при «народной коллегии» имени И. Дьёрффи. О популярности венгерско-советского культурного общества среди интеллигенции Будапешта свидетельствует и то, что его активистами являлись несколько авторитетнейших деятелей культуры, в том числе всемирно известный ученый-биохимик лауреат Нобелевской премии А. Сент-Дьерди. Немало внимания привлекали происходившие с лета 1945 г. гастроли советских артистов (ансамбля песни и пляски Советской Армии, балерины Г. Улановой, пианиста Э. Гилельса) [11]. Высокий профессиональный уровень исполнителей из СССР отмечала не только коммунистическая и близкая к ней пресса, но и газеты правых партий, католические издания [12].

Констатируя все это, надо учитывать, что сталинский режим, расширяя объем направляемой в Венгрию советской духовной продукции, преследовал свои цели. Книжный рынок наводнился обилием материалов сугубо пропагандистского назначения — портретами «отца народов»⁵, брошюрами и картинными репродукциями, в явно искаженном свете представляющими жизнь советских людей.

В то же время Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС) негативно отвечало на многие запросы венгерской стороны о присылке в страну серьезной литературы. Так, на просьбу составить для публикации в Венгрии сборник рассказов А. Платонова ВОКС не отреагировал, поскольку великий писатель был отлучен в это время Сталиным от публикаций [10, д. 118, л. 41—49]. Сходная ситуация сложилась и в других областях культуры. Нам «нужны произведения Прокофьева, Шостаковича и Мясковского. Опыт показал, что именно эти композиторы наиболее подходят для здешних условий, смогут привлечь наибольшее внимание и сделать советскую музыку наиболее популярной», — писал в Москву генеральный секретарь венгерско-советского культурного общества драматург Д. Хай [10, д. 115, л. 33—34; д. 118]. Но как раз эти композиторы подвергались в те годы гонениям за «формализм» и потому, с точки зрения сталинских «экспортёров культуры», их произведения явно не могли считаться образцовыми. Известный и за пределами Венгрии теоретик кино и драматург Б. Балаж в переписке с одним из советских коллег с горечью сетовал на то, что венгерский кинозритель лишен возможности видеть лучшие произведения советского кинематографа (в частности, шедевры немого кино 20-х годов), а те картины, что поступают из СССР, художественно слабы и не находят отклика, заметно уступая в популярности продукции Голливуда⁶. «Я веду здесь упорный бой за советское кино и искусство вообще», — писал Балаж [10, д. 123, л. 25].

Конечно, было бы упрощением говорить о том, что из СССР в эти годы переправлялись только парадные портреты Сталина, напичканные унылой дидактикой романы о передовиках производства и начисто лишённые конфликта современные пьесы и фильмы. Во второй половине 40-х годов значительно большими, чем ранее, тиражами выходит русская литературная классика XIX в. [14], театры

⁵ Летом 1945 г. в Венгрию послано для распространения 5 тыс. портретов Сталина. За первой партией последовали другие [10, д. 115, л. 7].

⁶ По соглашению, подписанному в 1946 г., в Венгрию было отправлено 80 американских фильмов. США обязались также принять участие в налаживании венгерского кинопроизводства [13, 1946, 27 XI].

ставят пьесы А. П. Чехова, А. С. Грибоедова, А. Н. Островского, к русской музыкальной классике обращается будапештская оперная труппа. И все же в обширном культурном потоке из СССР уже в 1945—1947 гг. главное место занимала отнюдь не классика. Многие венгры, проявлявшие интерес к русской культуре советского периода, могли получить о ней весьма одностороннее представление — за бортом оставалось все то, что не соответствовало сталинско-жdanовским представлениям об искусстве «социалистического реализма»⁷.

Факты свидетельствуют о том, что интерес к советской культуре в послевоенной Венгрии не ограничивался какой-либо одной областью. «Не проходит и дня, чтобы нас не запрашивали ученые, писатели и художники, каким образом они могут завязать ... связи со своими коллегами в Советском Союзе. Подобные же вопросы я получаю от спортивных организаций, от студентов и т. д. Другой постоянно возникающий вопрос — каким образом можно быстро и без пропусков получать научные и другие издания», — писал Д. Хай в ВОКС [10, д. 118, л. 26—28]. Советская сторона, реагируя на просьбы венгров, не забывала о своих базовых политических установках — распространение научной, специальной литературы (также как и художественной) было призвано служить укреплению позиций СССР в восточно-европейском регионе, усилению его влияния на духовную жизнь расположенных здесь стран. В инструкции ВОКС, сопровождавшей присылку в Венгрию технической литературы, недвусмысленно говорилось, что «снабжение венгерских техников советскими книгами и журналами начинает приобретать все большее политическое значение» [10, д. 118, л. 32—34].

Большой интерес венгерской аудитории к советской духовной продукции понятен, если учесть тот вакуум информации об СССР, который существовал в хортистской Венгрии. «На протяжении четверти века советская литература привозилась к нам нелегально и засовывалась нами позади всех книг. Иную новую русскую книгу мы хранили точно так же, как некоторые из нас прятали человека, спасающегося от преследования полиции. Но как раз это обстоятельство озарило советскую литературу светом изгнанных героев и мы не могли даже думать об объективной оценке ее. Каждая советская книга была для нас как бы библией живой веры и потому стояла выше эстетических оценок. Для других все прибывавшее с Востока означало опасность, а ведь у страха тоже не существует объективной точки зрения. Должен был наступить 1945 г., чтобы мы смогли систематически приступить к разбору советской литературы», — писал в 1947 г. публицист левой печати Г. Хегедюш [15].

Новая расстановка сил на международной арене после 1945 г., усиление позиций СССР в регионе делали задачу ознакомления с советской культурой еще более актуальной. «Многое в мире зависит от сверхдержав... Каждая нация, если она желает сохранить себя, должна учитывать точку зрения этих стран... Нация, не знающая великие народы мира, играет своей судьбой», — отмечал журнал «Jóvendő». Советский Союз — наш сосед, продолжал далее журнал. — «С этим фактом одинаково должны считаться и те, кто с радостью, и те, кто со страхом принимают такое соседство». «В любом нашем действии, — заключал автор статьи, — мы не можем не учитывать интересы СССР, а значит не можем обойтись без знания соседней державы» [10, д. 128, л. 57—58]. В контексте сказанного едва ли удивит, что такой правый по своим идейным ориентациям политик, как первый премьер-министр послевоенной Венгрии, бывший хортистский генерал Б. Миклош, уже летом 1945 г. предлагал Венгерской Академии наук приступить к подготовке собраний сочинений Ленина и Сталина, выпустить антологию русской и советской литературы, создать кафедру русистики в Будапештском университете, ввести обязательное обучение

⁷ Случайная публикация в одном из журналов рассказа М. Зоценко была отмечена референтом ВОКС как крайне негативный и настораживающий факт. В еще большей мере это касалось упоминания в венгерской прессе репрессированных Б. Пильняка и В. Мейерхольда [10, д. 126, л. 196].

русскому языку в средних школах [10, д. 114, л. 71]. Венгерско-советское культурное общество с момента создания в июне 1945 г. находилось в привилегированном положении по сравнению с обществами, призванными налаживать культурные связи с другими странами, на его деятельность выделялась немалая государственная дотация.

Известно, что у многих из тех иностранцев, кому приходилось в 30-е — начале 50-х годов бывать в СССР, складывалось ложное впечатление о советской системе — сталинский режим умел показывать товар лицом и держать за семью печатями свои тайны. Первый посол Венгрии в СССР (1946—1948 гг.) никогда не считавший себя коммунистом историк Д. Секфю в книге 1947 г. «После революции» много писал о преимуществах советской системы над западными, как гарантирующей право на труд, дающей людям обеспечение в старости и т. д. [16].

Все же определенные опасения «советизации» существовали. Крупный писатель Л. Немет, например, еще летом 1943 г. на собрании антифашистских сил в Балатонсаро предостерегал своих соотечественников от возможного установления в Венгрии такого строя, где крестьянству приходится трудиться под надзором иноземных надсмотрщиков, любая свободная мысль находится под строжайшим запретом и т. д. [17]. Но даже у многих из тех, у кого существовали какие-то иллюзии в отношении сталинской системы, были свежи в памяти левачьи эксцессы 1919 г. в собственной стране. Известная своими отнюдь не только антифашистскими, но не в меньшей мере и сектантскими, экстремистскими традициями, ВКП даже в тот период, когда в ее политике доминировали идеи широкого народного фронта, у многих вызывала настороженное отношение как потенциальная угроза сохранению демократической коалиции, как претендент на монопольный захват власти с последующим ущемлением демократии. Пытаясь развеять подобные опасения, лидеры партии из тактических соображений делали неизменный акцент на специфике продвижения Венгрии к социализму: в сравнении с советским путем. Эта специфика виделась в постепенности, нефорсированности революционного процесса, поддержании единого фронта сил, выступающих за социалистическую альтернативу, сохранении институтов парламентаризма.

Острая политическая борьба между сторонниками буржуазно-демократической и социалистической альтернатив к 1948 г. завершилась в пользу последних. Созданная в июне 1948 г. на объединительном съезде коммунистов и левых социал-демократов Венгерская партия трудящихся сразу же становится доминирующей силой в политической системе и берет курс на вытеснение других партий с политической арены. У руля ВПТ стояла узкая группа представителей московской коммунистической эмиграции (М. Ракоши, Э. Герё, М. Фаркаш, Й. Реваи и др.). На духовное формирование этих людей решающий отпечаток наложила сектантская идеология и политическая практика Коминтерна 20-х—начала 30-х годов.

Попытки строительства социализма по унифицированной и, вдобавок, крайне несовершенной «советской» модели негативно сказались на развитии всех структур общественного организма в Венгрии и других странах Восточной Европы. Одним из следствий этих попыток явилось оскудение духовной жизни в результате установления монополии одной идеологии и вытеснения носителей иных мировоззрений. В условиях жесткой регламентации приходилось функционировать литературе и искусству — художественное творчество было подчинено строгой системе канонов, определявших как содержание, так и форму произведений, выполненных в соответствии с требованиями «социалистического реализма». Конфликт между художниками и властью, явившийся результатом культурной политики начала 50-х годов, предопределил активное участие творческой интеллигенции в революции 1956 г. [18].

С установлением в конце 40-х годов диктатуры Ракоши развитие советско-венгерских культурных связей вступило в принципиально новый этап. Если ранее культурный поток из СССР хотя и находился в доминирующем положении,

все же сосуществовал с иными, западными, то теперь он занимает монопольное положение. «Наше главное требование к работникам культуры... чтобы они учились у советской культуры, чтобы отныне не на Париж, а на Москву обращали свои взоры», — заявил в октябре 1949 г. главный идеолог ВПТ Й. Реваи [2, 1949, 2 X], и эти слова были восприняты как новая директивная установка ⁸.

О масштабах распространения советской культурной продукции в Венгрии начала 50-х годов дают представление некоторые факты. Советские фильмы составляли 75—85% кинопроката, а в некоторых кинотеатрах — до 100% [8, р. 32]. В марте 1952 г. в первоклассных кинотеатрах Будапешта шло 10 советских, один венгерский и один восточногерманский фильм [14, 1952, 30 III]. В апреле того же года на сценах театров Венгрии состоялось 110 спектаклей по пьесам русских и советских авторов (на долю венгерских драматургов пришлось 52 спектакля, на долю авторов из других стран — 29) [8, р. 34]. 1 апреля 1952 г. из прозвучавших по венгерскому радио музыкальных произведений 38 принадлежало русским и советским композиторам, 36 — авторам из других стран (включая саму Венгрию с ее богатейшей музыкальной традицией) [8, р. 25]. В дни декад и месячников советской культуры в концертных залах и по радио исполнялась исключительно русская и советская музыка. Весной 1952 г. в репертуаре будапештского оперного театра было 16 опер и балетов русских композиторов, пять — итальянских, четыре — венгерских, две — немецких, одна — польского [8, р. 24]. Конечно, новые постановки «Бориса Годунова», «Хованщины», «Князя Игоря», «Евгения Онегина» в опере, издание большими тиражами произведений Пушкина и Толстого имели позитивное значение. Как отметил зарубежный исследователь, «коммунисты умеют извлекать пользу из действительных достижений русской культуры прошлого с тем, чтобы повышать свой собственный престиж, делать более эффективной пропаганду своей идеологией» [8, р. 2]. И все же главный упор в пропаганде делался отнюдь не на классику. Пьесы Сулова и братьев Тур шли на сценах основных будапештских театров чаще, чем пьесы Чехова. И если А. П. Чехов все же относился к той части традиции, которая принималась сталинской концепцией культурного наследия, то на издание произведений Ф. М. Достоевского было наложено негласное вето.

Вообще, русская культура провозглашалась образцом очень абстрактно, безотносительно к конкретным достоинствам и недостаткам тех или иных произведений ⁹. Это приводило к тому, что наряду с подлинными ценностями за образцы выдавались бесчисленные конъюнктурные поделки, рожденные в атмосфере сталинизма. Так, роман Бабаевского «Свет над землей», состряпанный по рецептам пресловутой «теории бесконфликтности», за считанные годы выдержал четыре издания. Ни в коей мере не ставя в один ряд с Бабаевским М. Горького, мы должны, однако, признать: 48 изданий его произведений всего за восемь лет (1948—1956 гг.) с учетом огромных тиражей большинства из них привели к чрезмерному наводнению рынка и библиотек книгами этого писателя [14, 9—10 old.] В то же время

⁸ Общая установка была конкретизирована затем с учетом специфики отдельных областей культуры. «Давайте будем учиться у советского театра», — называлась, например, директивная статья газеты «Szabad Nép» [2, 1950, 12 III]. Виднейшую роль в духовной жизни Венгрии эпохи Ракоши играли деятели культуры, возвратившиеся из московской эмиграции, — писатели Б. Иллеш и Ш. Гергей, композитор Ф. Сабо, художник Ш. Эк и др. Иллеш и Гергей, например, сформировались в 20—30-е годы в среде РАПП и Международной организации революционных писателей, столь же печально известной своими сектантскими традициями (Иллеш одно время был генеральным секретарем МОРИ). Эти люди, будучи фанатически преданы идее пролетарской революционности, в такой же степени унаследовали от РАПП сектантскую нетерпимость к инакомыслию, недоверие к союзникам по Народному фронту. Они лучше, чем кто бы то ни было, были подготовлены для выполнения посреднических функций при перенесении на венгерскую почву методов культурной политики, апробированных в СССР.

⁹ «Мы хотим познакомить наших людей с наиболее передовой в мире культурой, у которой нам предстоит многому научиться», — восклицал, например, Реваи [2, 1949, 18 XII].

некоторые отнюдь не менее достойные авторы (М. Булгаков, А. Ахматова и др.) не удостоивались чести быть опубликованными ни разу. Отношение к их творчеству в Венгрии всецело определялось соответствующими сталинско-ждановскими характеристиками. Таким образом, венгерский читатель, зритель, слушатель не мог получить представление о многих значительных явлениях русской культуры советского периода ¹⁰.

Параллельно с резким повышением интенсивности советского культурного влияния столь же резко сужаются масштабы воздействия иных, более традиционных для Венгрии культур. Соответствующий закон запрещал показ современных западных фильмов [20], свертывали свою работу общества культурных связей с западными странами, закрывались многие курсы по изучению западных языков, пересматривались театральные репертуары и книгоиздательские планы. Ясно, что наряду с продукцией коммерческой культуры в «запретную зону» попадали большие ценности. О том, в каких масштабах происходило сужение круга духовной продукции, адресованной широким массам, лучше всего скажет следующий факт. Среди книг, подлежащих изъятию из библиотек согласно официальному распоряжению 1950 г. (через год, правда, частично пересмотренному), оказались «Калевала», произведения М. Сервантеса, А. Дюма, братьев Гримм, Г. Уэллса, С. Цвейга, других крупных писателей разных времен и народов [21]. В некоторых случаях, например, в случае с «Дон Кихотом», основанием для изъятия явилась «контрреволюционная сущность» их составителей и авторов предисловий (эти книги вышли до 1948 г.), но чаще речь шла о принципиальном неприятии того или иного явления культуры с позиций сталинской эстетической ортодоксии.

В этой связи важно подчеркнуть: советизация венгерской культуры означала не только и не столько ее русификацию, сколько вполне определенную ее идеологизацию. Характерно, что «Русский институт» (позже «Институт имени Ленина»), функционировавший в системе Будапештского университета на правах самостоятельного факультета, готовил одновременно и преподавателей русского языка, и преподавателей марксизма-ленинизма. Все философские кафедры университета были сосредоточены именно здесь, марксизм в его сталинской интерпретации занял монопольное положение в университете, как и в стране в целом. В 1950 г. в Венгрии вышло 20 книг по философии (не считая произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина), из которых 19 принадлежало современным советским авторам ¹¹.

«Русский институт» был единственным университетским отделением, куда принимали абитуриентов без обязательного среднего образования (понятно, что пропагандистский механизм режима Ракоши испытывал острейшую потребность в преподавательских кадрах по русскому языку ¹², равно как и по философии марксизма). «Единственное требование, предъявляемое

¹⁰Отвергалось, само собой разумеется, и творчество художников, после 1917 г. оказавшихся в эмиграции. Балет И. Стравинского «Петрушка» был снят с репертуара в Будапештской опере в результате проработочных статей в центральной прессе [2, 1950, 5 II].

¹¹Наступлению вулгаризированного марксизма предшествовала крупномасштабная кампания критики в адрес всемирно известного философа Д. Лукача. Мыслитель, проделавший сложную духовную эволюцию от философии жизни и неокантианства к творческому, неортодоксальному марксизму, оказавший своими работами влияние на экзистенциализм и франкфуртскую школу, Лукач был одним из главных препятствий на пути догматизации венгерской философии. Критика Лукача распространялась и на его общеполитические воззрения, и на эстетические концепции [22]. Одним из характерных мотивов в проработочных кампаниях была «недооценка» философом опыта советской культуры (Лукач упорно предпочитал классическое наследие произведениям, выполненным в соответствии с нормами «соцреализма»).

¹²В 1951 г. русский язык, по некоторым данным, изучали 500 тыс. человек [13, 1951, 21 X]. В школе большее количество часов уделялось только венгерскому языку и математике, причем увеличение часов на русский происходило, главным образом, за счет западных языков. В специальных школах, созданных по советскому образцу, русский язык изучался не с 5-го, а со 2-го класса. Была образована также одна школа, где на русском языке проходило обучение по всем предметам. Курсы по изучению русского языка создавались повсеместно на предприятиях, при библиотеках и клубах. Естественно, что при таких запросах проблема подготовки педагогических кадров стояла очень остро и не могла быть быстро решена.

к студентам, — их желание учиться», — писала газета «Népszava» [23, 1950, 7 VI]. В том же номере газеты приводились слова одного из студентов, бывшего рабочего с 6-летним образованием: «Когда я пришел в университет, я едва знал даже правила венгерской грамматики». Можно представить себе уровень общеобразовательной подготовки людей, получавших дипломы об окончании университета.

В начале 50-х годов параллельно с заметным увеличением числа учащихся средней специальной и студентов высшей школы происходила резкая девальвация дипломов. Не последнюю роль сыграло здесь копирование советских образцов. С принятием в 1950 г. соответствующего партийного постановления в венгерской школе началось массивное насаждение идей Макаренко (как теоретика) и прочей сталинской педагогической ортодоксии. Все это выдавалось за наиболее передовой опыт, который противопоставлялся опыту других педагогических школ и направлений. Был закрыт НИИ педагогики, за противодействие внедрению «ценного опыта» изгонялись из школ лучшие учителя. Многие учебные заведения (в том числе специальные) были организованы по советской модели без должного учета венгерских национальных традиций в подготовке соответствующих кадров. По советской модели в 1952 г. был образован венгерский Минвуз, ведавший менее чем половиной всех венгерских вузов и через год в силу абсурдности своего существования в маленькой стране упраздненный. Некритически переносится на венгерскую почву и система аттестации научных кадров, отличная от традиционной для Запада, при которой научные степени присуждаются в университетах без вмешательства вышестоящих бюрократических инстанций. По советскому образцу происходила реорганизация в 1949 г. Академии наук¹³. Многие видные ученые, перейдя на работу в только что образованные академические институты, ушли из вузов, тем самым, как и в СССР, стал намечаться разрыв между наукой и высшей школой. К тому же большую группу деятелей науки, особенно гуманитариев, затронули идеологические чистки начала 50-х годов. Так, политолог И. Бибо, будучи лишен университетской кафедры, смог устроиться на работу только в качестве библиотекаря.

Начиная с 1950 г. в учебный процесс внедряются новые пособия, «основанные на современных достижениях советской педагогической науки» [2, 1951, 16 IX]. Что представляли собой эти учебники? В пособии по всеобщей истории для средних технических учебных заведений из 180 страниц 120 было посвящено истории России и Советского Союза [8, р. 11—12]. В учебнике по географии зарубежных стран пять страниц отводилось на Францию, 10 — на США и 56 на СССР [8, р. 11]. В пособии «Идейные предтечи исторического материализма» содержалось 133 цитаты из работ Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и всего одна цитата из Гегеля [24]¹⁴. Даже тогдашний министр образования и религии Й. Дарваш был вынужден как-то заявить: приверженность авторов учебных пособий марксистской методологии должна проявляться отнюдь не в том, чтобы на каждой второй

¹³ «Вся наука в стенах нашей Академии будет развиваться на основе марксизма-ленинизма и образцом для нас станет советская наука с ее выдающимися достижениями», — было сказано на сессии ВАН в декабре 1949 г. [2, 1949, 1 XII]. Венгерские биологи и генетики получают предписание использовать в качестве методологического фундамента «учение» академика Лысенко [2, 1949, 12 VI]. Переносится на венгерскую почву кампания борьбы с космополитизмом в науке. В Венгрии эта кампания получила своеобразное звучание. «Самая опасная форма космополитизма — игнорирование достижений советской науки», — писала одна из газет [19, 1951, 11 XII].

¹⁴ Подобные примеры можно множить и множить. В книге для чтения учеников 2-го класса начальной школы более половины авторов составляли русские и советские. Многие фрагменты переносились в готовом виде из соответствующего советского учебника. Из 175 учебных пособий для вузов, опубликованных в 1950—1952 гг., 86 принадлежало советским и 89 венгерским авторам, но и оригинальные венгерские учебники были написаны «на основе передового советского опыта» [2, 1950, 23 VIII].

странице учебника по химии или физике можно было найти цитаты из классиков марксизма [2, 1951, 29 VIII].

Работы Ленина и Сталина, труды по истории ВКП(б) заняли главное место в захлестнувшем Венгрию потоке советской пропагандистской литературы. Уже к началу 50-х годов здесь было подготовлено 12-томное собрание сочинений Сталина. В декабре 1949 г. к юбилею генералиссимуса была выпущена специальная брошюра в невиданном для Венгрии миллионном количестве экземпляров. Чтение в оригинале работ Ленина и Сталина входит неотъемлемым элементом в программу уроков русского языка. В 1950 г. в вузах вводятся государственные экзамены по русскому языку. В качестве экзаменаторов очень часто выступали эмиссары из Советского Союза. С 1945 г. по весну 1952 г. книги русских и советских авторов вышли общим тиражом 6 млн экз. [2, 1952, 25 III]. Некоторые издательства занимались исключительно выпуском советской литературы (как общественно-политической, так и художественной).

«Советская литература и искусство не воспринимаются у нас в Венгрии как иностранные», «советская культура все более становится для нас не только опорой, но и неотъемлемой частью создаваемой нами новой венгерской культуры», — утверждали с высоких трибун ведущие партийные функционеры [2, 1950, 12 II; 1952, 19 II]. Отношения между СССР и Венгрией в сфере культуры становились все более неравноправными, приобретали характер отношений между метрополией и колонией, СССР по сути дела приписывалась культуртрегерская миссия¹⁵. Посещавшие Будапешт авторитетные советские визитеры позволяли себе выступать с высокомерными заявлениями, ущемляющими национальное достоинство венгров. Так, академик И. П. Бардин, возглавлявший делегацию СССР во время месячника советской культуры в Венгрии в 1950 г., снисходительно отметив «ростки новой жизни», далее заявил: есть область социалистического строительства, где Венгрия пока не достигла таких же впечатляющих успехов, как в других областях, «речь идет о культуре, науке, искусстве» [2, 1950, 17 II]. Вслед за этим центральные венгерские газеты принялись с еще большей активностью пропагандировать современную советскую действительность во всем показном великолепии ее «потемкинских деревень».

На фоне звучных пропагандистских кампаний по случаю дней советской культуры часто оставались почти незамеченными более важные с точки зрения венгерской национальной культуры события, например, смерть в феврале 1951 г. великой актрисы Г. Байор. Чествования юбилеев по случаю рождения или смерти выдающихся деятелей русской культуры все более начинали затмевать празднования юбилеев великих венгров и носили формализованный характер, предполагая обязательное вовлечение в различные мероприятия огромного количества людей [25]. Киноэкраны заполнили советские фильмы, подобные кинокартине о том, как Маркони украл у Попова секрет изобретения радио, но предавалась забвению богатая национальная традиция венгров в области технического изобретательства [26].

Конечно, было бы неправомерным видеть в массовой советизации только результат советского давления. Чаще всего инициатива исходила от пресмыкавшейся перед Сталиным партийной верхушки в самой стране. Несомненно, однако, активная роль советской стороны (и прежде всего ВОКС) в отборе переправляемой в Венгрию духовной продукции. Музыкальные записи для радио направлялись в соответствии со специальным соглашением, подписанным в апреле 1950 г. [2, 1950, 18 IV]. Аналогичные

¹⁵Естественно, что подобный тип отношений между двумя странами пытались спроецировать и на прошлое. Развертывается кампания критики в адрес тех историков, которые «не хотели говорить правды о том, какую помощь оказал русский народ венграм в борьбе против турок и татар», в создании венгерской государственности [8, р. 28]. С другой стороны, все труднее становилось объективно оценить роль царизма в подавлении революции 1848 г.

соглашения были заключены в области книгообмена, концертной, выставочной деятельности.

Как воспринималась советская культура венгерской аудиторией, вызывала ли она только отторжение или дело обстояло сложнее? Истоки интереса к духовной жизни СССР в первые годы после освобождения лежали не только в стремлении найти противовес одностороннему немецкому влиянию, о чем речь шла выше. Некоторые венгерские исследователи (например, литературовед И. Кирай) пишут об эмоциональном подъеме, охватившем значительную часть населения страны в период экономических успехов 1946—1948 гг. [27]. По свидетельству И. Кирая, искренний оптимизм, вера в «светлое будущее» на некоторое время овладели многими людьми, в том числе и деятелями культуры. Даже не столько политические репрессии 1949—1950 гг., сколько крах волонтаристской экономической политики Ракоши в 1951—1952 гг. смогли, считает Кирай, поколебать этот настрой. Советская культура «социалистического реализма» оказывалась, таким образом, созвучна достаточно широко распространенным в обществе авангардистским, революционно-романтическим устремлениям. Вот что вспоминает известный экономист И. Хусар: «В народной коллегии в Будапеште, куда я попал в 1947 г., мы с жадностью впитывали в себя все сведения об этой стране, проглатывали все книги о ней, которые попадали к нам в руки. Возможно, современное литературоведение судит строже, но на меня в то время произвела неизгладимое впечатление книга Ажаева «Далеко от Москвы». Никогда не забуду и книгу Макаренко («Педагогическая поэма». — А. С.) — она произвела на меня тем большее впечатление, что я готовился стать педагогом, хотя и не стал им» [28]. В связи со сказанным делается понятнее неожиданный успех в послевоенной Венгрии пьес К. Симонова «Русский вопрос» и Л. Рахманова «Беспокойная старость», повести В. Катаева «Белеет парус одинокий». Перенасыщение культурой «социалистического реализма» и соответственно реакция отторжения этой культуры происходили по мере разочарования в скором торжестве коммунистических идеалов. Следует помнить также, что обширный поток русской культуры не сводился всецело к современной продукции, в нем были представлены, к примеру, Л. Толстой и другие великие русские писатели в блистательных переводах классика венгерской литературы Л. Немета, выполненных примерно в это же время.

Осознавая неоднозначность ситуации, приходится все же констатировать: бездумное, механическое копирование советского опыта, недифференцированное отношение к советской культуре, возведение ее в ранг образца для подражания в ущерб лучшему национальным традициям нанесли огромный вред культурному развитию Венгрии, сузили горизонты духовных исканий венгерской интеллигенции и вызвали в качестве естественной ответной реакции усиление антисоветских настроений в общественном сознании, проявившихся в дни трагических октябрьских событий 1956 г. Советское военное вмешательство в венгерские дела в 1956 г., вызвавшее отпор многих тысяч венгров (сначала путем вооруженного сопротивления, а затем и массовых забастовок), явилось проявлением той же имперской политики, что и массивная идеологическая и культурная экспансия сталинизма во второй половине 40-х — начале 50-х годов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большевик, 1945, № 19—20, с. 54.
2. Szabad Nép.
3. Daily Herald, 1946, 22 VIII.
4. Вопросы экономики, 1949, № 3.
5. *Bibb.* Harmadik út. London, 1960, 73—74 old.
6. *Huszár T.* Bibó Istvan. Beszélgetések, politikai-életrajzi dokumentumok. Budapest, 1989.

7. *Стыкалин А. С.* В поисках выбора (из истории идейных исканий в Венгрии. 1945 — конец 1950-х годов). — В кн.: Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20—60-е годы. М., 1991.
8. *Csicsery-Ronay I.* Russian penetration in Hungary. New York, 1952.
9. Dokumentumok magyar nemzetközi kapcsolatok történetéből. 1945--1948. Budapest, 1988.
10. ЦГАОР, ф. 5283, оп. 17.
11. Советско-венгерские связи в художественной культуре. М., 1975, с. 60—62.
12. *Uj ember*, 1947, 18 VIII; 15, 22, 29 IX.
13. *Kis Ujság*.
14. Szovjet irodalom Magyarországon és magyar irodalom a Szovjetunióban. Budapest, 1968.
15. *Jóvendő*, 1947, № 22.
16. *Szekfü Gy.* Forradalom után. Budapest, 1947.
17. Szarszo 1943. Budapest, 1983.
18. *Стыкалин А. С.* Венгерская культура в середине XX в. (от Хорти и до Кадара). М., 1991.
19. *Magyar Nemzet*.
20. *Magyar Közlöny*, 1950, marc. 3.
21. *Varga S.* A selejtlista 1950. — Irodalomtörténet, 1983, № 2.
22. *A Lukács-vita*. Budapest, 1985.
23. *Népszava*.
24. *Molnar E.* A történelmi materializmus előzményei. Budapest, 1952.
25. *Köznevelés*, 1952, 15 IV.
26. *Wagner F. S.* Hungarian contribution to world civilization. De Kalb Pike, Pennsylvania, 1977.
27. *Kiraly I.* Az «ötvenes évek». Megjegyzések egy tanulmányhoz. — *Jelenkor*, Pécs. 1986, nov.
28. Венгерские новости. Будапешт, 1985, № 4, с. 30.



КОРОБКИН И БАШМАЧКИН

Одна из особенностей стилистики Белого — незавуалированное, подчеркнутое цитирование; заимствование образов и ситуаций не скрывается, а, наоборот, выпячивается. Это сказывается и на персонажах — на их «фрагментарной прототипности» (см. [1]). Персонажи произведений Белого часто представляют собой сложнейшую амальгаму из самых различных источников. В каждом из них скрещивается множество узнаваемых прототипов — как реальных, так и литературных. Таков и профессор Коробкин, главный герой романов «Москва» и «Маски» — гениальный математик, который на протяжении двух романов сражается с всемирным злом, грозящим уничтожить Москву и весь мир с помощью его же, Коробкина, похищенного открытия. У этого образа множество прототипов — отец автора профессор Бугаев¹, распинаемый Христос, доктор Штейнер [3, р. 243]; среди них есть и персонажи Гоголя — Коробочка (из «Мертвых душ») и Иван Иванович Коробкин (из «Ревизора»)².

Как и другие персонажи Белого, герой его последних романов занят антропософскими проблемами единства тела и сознания, земли и космоса — причем духовные его страдания актуализованы в сюжете с необычайной остротой. Все состояния, вызванные дисгармонией астрального и земного, зримого и незримого миров, транспонированы в предельно натуралистические картины³. Отрыв сознания от тела и несовместимость мира зримого с миром

¹ Ланглебен Мария — профессор Еврейского Университета в Иерусалиме.

¹ Как следует из описаний Н. В. Бугаева в воспоминаниях Белого («На рубеже двух столетий» и «Начало века»), Коробкин заимствовал у него очень многое: не только профессию, внешность, темперамент, талант, привычки, но и элементы биографии и множество мелких событий, в преобразованном виде вошедших в сюжет диологии. В то же время Белый утверждает, что «„Коробкин“ — не отец; в нем иные лишь черты взяты в остранении жуткого шаржа; и — ничего общего в квартире, в семье с нашей квартирой и с нашей семьей» [2, с. 65].

² Коробочка и Коробкин наделили знаменитого математика не только фамилией, но и талантом разоблачителя. В «Мастерстве Гоголя» Белый обращает внимание на то, что Ст. Ив. Коробкин в немой сцене обращен к зрителям «с прищуренным глазом и едким намеком» [4, с. 164]. Что же касается Коробочки, то ей назначена роковая роль в разоблачении Чичикова (см. [4, с. 97—102; 5]).

³ В отличие от того, что происходит с героями «Петербурга», которые «вывернуты наизнанку» неощутимо для посторонних. Так, разбеганию частей тела и внутренних органов (ср. [6, с. 212]) соответствуют зверские пытки — по существу, самоистязание, так как пытается Коробкина его космический близнец Мандро. (О значении пыток в «Москве» см. [3, р. 242].) Разделение личности между мирами астральным, реальным и хаосом (о вертикальной модели мира у Белого см. [3, р. 237]) реализуется здесь как парадоксальная физическая тройственность — ибо Коробкин существует в трех видах: с одной стороны, земной Коробкин, с другой — названная в его честь звезда «Каппа-Коробкин», и с третьей — бактерия «Нина Коробкиниензис», обитающая в тараканьем желудке и тоже названная в его честь [7, ч. 1, с. 70—71].

незримым оборачиваются для Коробкина нестерпимым противоречием между его профессией — абстрактной наукой — и реальностью. Антиномия тела и духа становится в диалогии критической — от ее немедленного решения зависит судьба не только самого профессора, но и всего мира.

Открытая материализация внутренних противоречий заставляет Коробкина с предельной интенсивностью искать незамедлительного выхода из безвыходных тупиков. В своих мучительных исканиях особенную поддержку он получает от самого незаметного из своих многочисленных прототипов — от Акакия Акакиевича Башмачкина.

На первый взгляд, между прославленным профессором и бедным героем «Шинели» (далее: «III») нет ничего общего. Их не сближает ни фамилия, ни темперамент, ни образ жизни, ни сюжет. Однако, выходя на улицу — один в Петербурге, другой в Москве — оба они попадают в удивительно похожие неприятности:

«Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком *выписанные строки* (здесь и далее курсив автора статьи), и только разве если, неизвестно откуда взявшись, *лошадиная морда помещалась ему на плечо* и напускала ноздрями целый ветер в щеку, *тогда только замечал он*, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы» [8, с. 145].

«И вот, — Моховая: извозчики, спины, трамвай, за трамваем /.../ набатили формулы и открывали возможности их запнать; /.../ рукою с мелком он *выписывал ленточку формулок*: преинтересная штука! /.../ но квадрат с недописанной скобочкой, — /.../ был квадратом кареты. Карета поехала. /.../»

Профессор с рукой, зажимающей мел, поднимая тот мел, развивал ускорение вдоль Моховой, потеряв свою шляпу, развевши черные крылья пальто; но квадрат, став квадратиком, сился там развивать ускорение; и улепетывали в невнятицу — оба: квадрат и профессор внутри поллой сферы вселенной — быстрее, быстрее, быстрее! Но *вдвинулась вдруг лошадиная морда* громаднейшим ускореньем оглобли: бабахнула!

Тело, опоры лишенное, — падает: пал и профессор — на камни со струечкой крови, *залитшей лицо*» [7, ч. 1, с. 69—70].

Сходство двух ситуаций — далеко не поверхностное. Бросаются в глаза явные лексико-семантические совпадения: «Лошадиная морда помещалась ему на плечо» и «вдвинулась вдруг лошадиная морда», «чистые строки» и «ленточка формул». Причины обоих столкновений одинаковы: хроническая рассеянность, вызванная поглощенностью своим делом, уносит неосторожного пешехода в мир абстракций. Углубленность в себя, внутренний мир, не желающий уступать место реальности, двойное зрение, приводящее к столкновению с материальным миром — вот что вызывает на сцену обе лошадиные морды. Более того, в обоих происшествиях можно усмотреть одну и ту же последовательность действий: погруженный в себя пешеход ничего не видит вокруг, он *пишет ровные строки* на уличных объектах, *лошадиная морда* приближается к нему, она *препятствует* его дальнейшему движению, и это заставляет его мгновенно осознать уличную *реальность*.

Оба отрывка повествуют об одном и том же: об уходе из мира зримого в мир незримый и об опасном возвращении в реальность. Однако есть и существенные отличия. У Гоголя улица и строка сливаются в каламбуре; Ив. Ив. осуществляет это каламбурное сближение дословно: он оказывается и в середине улицы, и в середине строки одновременно. Ак. Ак. лишь в своем воображении пишет на улице свои ровные строки и видит их «очами души»; мир воображения и мир ощущения разделены. Ив. Ив., развивая ускорение, энергично пишет вполне материальным орудием на задке кареты. Воображаемый мир бурно вторгается в мир зримый и, хотя в конце концов карета вместе с формулой «улепетнула в невнятицу», волей Ив. Ив. оба мира на мгновение совмещаются. Он вынуждает улицу стать строкой, заставляет настоящую улицу voltar в себя настоящую строку. Соответственно усиливается и травматизм столкновения — ср. «напускает ветер» и «бабахнула».

Зная отношение Белого к Гоголю, трудно сомневаться в том, что все эти параллели не случайны — вопрос только в том, насколько важна эта цитата из «Ш» в общем строении и содержании дилогии⁴. Поможет ли сходство двух «лошадиных эпизодов» (далее: ЛЭ) уловить какую-то более глубокую зависимость дилогии от «Ш»?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, попробуем уточнить роль обоих ЛЭ в их контекстах. На первый взгляд, функции двух ЛЭ различны. В самом деле, событие, переданное в «Ш» отстраненной авторской речью, у Белого превращается в драму, разыгранную в лицах. Кроме того, столкновение с каретой — яркая точка в сюжете дилогии, когда как в «Ш» ЛЭ стоит вне сюжета и составляет как бы часть характеристики Ак. Ак.

Но оба происшествия помещены близко к началу; воспользовавшись этим, последуем за течением обоих текстов и проследим за различными рефлексамии начальных ЛЭ.

Как показывает несовершенный вид глаголов «помещалась», «напускала», «замечал», лошадиная морда останавливала Ак. Ак. посредине улицы неоднократно. Действительно, хотя в тексте «Ш» ЛЭ больше не повторяется, происшествие это не остается без последствий. Во всех (прижизненных) передвижениях Ак. Ак. по улицам Петербурга варьируются основные элементы ЛЭ: беспамятство («невидение»), встреча с непреодолимым препятствием и мгновенное отрезвление. По модели ЛЭ построены следующие пять событий:

а. Как сюжетная иллюстрация к ЛЭ, следует первое столкновение с будочником. После озорчатого разговора с Петровичем по поводу починки шинели, Ак. Ак.

«вместо того, чтобы итти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогой задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: „чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?“» [8, с. 152].

Достоинo внимания расщепление фразы «тогда только замечал он» (из ЛЭ) на две: «Он ничего этого не заметил» и «тогда только немного очнулся».

б. Далее — Ак. Ак. в первый и единственный раз идет на службу в новой шинели. Он опять ничего не замечает, но на этот раз ничто его не останавливает: новая шинель убирает с его дороги все препятствия. Однако бессознательность и мгновенное отрезвление отмечены: «Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте» [8, с. 157].

в. Как отрицание бессознательного передвижения, представлен вечерний путь Ак. Ак. к «пригласившему чиновнику». Он идет долго, внимательно рассматривая все подряд; на сей раз он полностью принадлежит зримому миру и видит все в подробностях: «Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость» [8, с. 158].

г. Следующее событие — встреча с грабителями. И снова Ак. Ак. ничего не видит — на сей раз нарочно закрыв глаза, с усилием погружаясь в привычное бессознание. Все здесь дано в увеличении: вместо улицы — площадь; вместо одного препятствия — два. Не только люди с усами, но и будочник со своей алебардой встает перед ним; к тому же каждое из препятствий раздвоено — люди + усы, будочник + алебарда.

«...„Нет, лучше и не глядеть“, подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом

⁴ Тем более, что эпизод этот имеет и фактическую основу: в своих мемуарах Белый упоминает о падении профессора Бугаева с конки в июне 1902 г.: «Весть, что отец сломал руку, нас гонит в Москву» [9, с. 140]; «Папа, вернувшийся в Москву из командировки, упал с конки и сломал себе руку» [9, с. 596].

какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилося в груди. /.../ Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он спомнился и поднялся на ноги. /.../ Отчаянный, не устая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого чорта бежит к нему и кричит человек» [8, с. 161].

д. Наконец, в последнем своем пути домой Ак. Ак., опять в беспамятстве, сталкивается с главным врагом «всех, получающих четырехста рублей в год жалованья» — северным морозом, который имеет обыкновение давать «сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам» [8, с. 147]. Неожиданность столкновения очевидна и здесь («Вмиг надуло»); отрезвление же несколько замаскировано в безуспешных попытках Ак. Ак. что-то сказать:

«Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова...» [8, с. 167].

Так же, как в начальном ЛЭ, в перечисленных выше пяти эпизодах бессознательность сменяется мгновенным отрезвлением. Поставленный в тот же ряд эпизод (в.), в котором эта смена состояний нарочито отсутствует — не противоречит заданному эталону. Эта исключительная в жизни Ак. Ак. вечерняя прогулка с интенсивным разглядыванием служит нейтральным фоном; она оттеняет обычное для него мгновенное, травматическое переключение от невидения к видению. Что же касается *препятствий*, останавливающих Ак. Ак. на улицах Петербурга, то они варьируются — причем все препятствия, кроме лошадиной морды, активно вредоносны (безвредный вначале будочник в решительный момент оказывается двойником грабителей).

Таким образом, ЛЭ оказывается истоком *парадигмы уличных происшествий*, которая располагается как бы вне сюжета, вне текстового времени. Стоящая в стороне от главной сюжетной линии, эта группа событий незаметным образом ведет текст к кульминации: ограбление на площади предстает не как случайность, а как необходимый результат дисгармонии между внутренним миром героя и реальностью, его окружающей. Влияние парадигмы ЛЭ на этом не заканчивается: важное дополнение к ней составляет конец повести. Прежде, чем умереть, Ак. Ак. впадает в беспамятство; находясь «в бреду и в жару», он уходит в свой внутренний мир, в котором чувствует себя свободно, «произнося самые страшные слова» непосредственно вслед за словом «ваше превосходительство» [8, с. 168]. После погружения в бессознание и небытие, Ак. Ак. с шумом возвращается в реальность. Предсмертная болезнь и посмертное существование Ак. Ак. повторяют в двойном оксюморе то же сочетание — переход из мира незримого в мир зримый.

Итак, парадигма, порожденная ЛЭ, является стержнем скрытой структуры «Ш»; тема этой парадигмы — антиномия души и тела. Такое прочтение «Ш», не вытесняя других интерпретаций [10—13], освещает повесть и ее героя под углом зрения, очень близким мировоззрению Белого.

Лошадиная морда не остается без последствий и в диалогии Белого. Здесь есть два вида отголосков ЛЭ: во-первых, другие, сходные события, и, во-вторых, воспоминания об ЛЭ:

а. Столкновение самого Ив. Ив. с каретой обошлось без смертельного исхода, но катастрофа продолжилась, так как вскоре погиб под пролеткой его пес, причем обстоятельства гибели Тома очень напоминают несчастный

случай с профессором: опять конный экипаж и опять поврежденная, как у профессора, конечность — «отшибленная лапа»⁵.

б. Проходит некоторое время после обоих несчастных случаев, и Коробкин впервые беседует с Мандро. После этого разговора, потрясенный открывшимися ему кознями, он идет по улице в полном беспамьятстве: «шел с разгромленьем во взгляде, с разгрязом в сознание средь течи людской, многорылой», ошибся переулком и «дворник с метлой — перед ним; не на тот двор попал» [7, ч. 1, с. 254]. Состояние и поведение его очень похожи на состояние Ак. Ак. после беседы с значительным лицом; «И дворник с метлой» встает перед ним, как тень будочника, с алебардой вставшего в тот день перед Ак. Ак. Опять мы встречаемся с той же глубокой ситуацией: *беспамьятство, препятствие и мгновенное отречение*.

в. Одновременно Коробкин вспоминает еще один пример своей рассеянности, «когда он звонился, забыв, что звонится к себе», и препятствием оказалась собственная дверь и охраняющая ее горничная [7, ч. 1, с. 255]⁶.

г. Всю вторую часть «Москвы» пронизывают отголоски катастрофы с каретой. Сначала о ней вспоминает автор: «А он, между нами сказать, под оглоблями бегал: дела-с!» [7, ч. 2, с. 32]. Вслед за этим мы узнаем, что та встреча с лошадиной мордой была не единственной; задолго до того случилась другая неприятность, в которую рассеянный Ив. Ив. был ввергнут своим еще более рассеянным коллегой: рассказывая «что-то, предлинное очень», тот «подвел его под лошадиную морду /.../ лошадь — вскинулась: в глаз просверкала подкова: и все — испугались» [7, ч. 2, с. 36].

После этого новых уличных инцидентов не происходит — но ЛЭ не забывается и развитие сюжета все чаще опирается на него. С каждым новым воспоминанием, давний ЛЭ ретроспективно обрастает новыми тревожащими подробностями.

д. Приближаясь к трагическому концу второй части, разволнованный Ив. Ив. «сам для себя» рассказывает, что с той поры, как его «долбануло оглоблею», у него «и шумы в ушах /.../ И всякие дряни» [7, ч. 2, с. 118]. Только теперь мы узнаем, что с того удара началась для профессора новая, тревожная жизнь:

«стало казаться: стоянье „к ого-го“ — закон его жизни; „закон“ начинался с удара оглоблей; но он — продолжался: ужаснейшим шумом в ушах; и — мерцаньем под веками, сопровождавшим сомненья о смысле науки» [7, ч. 2, с. 120].

е. В финале второй части состоялся решительный tête-à-tête с Мандро; погружаясь в безумие, вызванное пытками, профессор опять вспоминает о сразившей его оглобле:

«Вставал еще образ: какой-то „Коробкин, открытие сделавший мелом на стенке кареты, бежал за каретой, нав под оглоблей; карета с открытием, но без открывшего пересекала пространство безвестности» [7, ч. 2, с. 245].

ж. Это было его последним воспоминанием перед отправлением в «дом сумасшедший», и этим же видением завершилось его выздоровление. Именно воспоминание о той давней аварии окончательно извлекает профессора из

⁵ Пес Том был телесным вместилищем своего хозяина, его полномочным представителем в зримом мире. Смерть его — частичная смерть профессора и высвобождение его трансцендентального мышления: «Говоря откровенно, — профессор Коробкин жил в двух измерениях доселе — не в трех: и не „Я“ его, жившее в „эн“ измерениях, а Томочка-песик, в нем живший; но Томочка-песик — покойник: он рухнул; и в яме лежит; „Я“ ж кометою ринулось в темя из „эн“ измерений» [7, ч. 1, с. 210].

⁶ В свою очередь, этот эпизод как бы предсказывает последующее (вполне сознательное) возвращение профессора домой из сумасшедшего дома, когда не узнавшая его прислуга отказывается открыть ему дверь [14, с. 288].

мрака безумия. «Коробки сломались»⁷ и внутри оказалось воспоминание об оглобле: «Удар за ударом: — оглоблей — по памяти! /.../ квадрат⁸, став каретой черною — ринулся; он — за квадратом: довычислить!» [14, с. 127]. Так ЛЭ обрамляет весь период безумия Ив. Ив.⁹, что еще раз подчеркивает сюжетную важность этого эпизода.

По мере того, как действие развивается, значимость ЛЭ продолжает расти.

з. О непосредственной причине своего сумасшествия — пытках — Коробкин забыл, он приписывает свое состояние все тому же удару оглоблей: «Себе объяснил, как попал в этот дом...: его *шибануло оглоблею* до сотрясения мозга» [14, с. 133].

и. Размышления об ЛЭ приводят к тому, что удар оглоблей переоценивается как благо; к концу дилогии Коробкин приписывает этому удару свои удачи:

Серафима — открытие, вышедшее из удара оглоблей, над ним разразившегося, потому что события жизни, которые *бьют, как оглоблею*, — *благоденствия* [14, с. 239].

к. Когда же Коробкин окончательно осознает, что он со своей абстрактной наукой — опаснее любого преступника, «удар» окончательно превращается в «дар» и повторяется еще раз, без помощи оглобли: «Грохнулся в пол головой:— „Удар-дар!“» [14, с. 304].

Развитие ЛЭ в «Москве» и «Масках» дает основание полагать, что эпизод пересажен из «Ш» в текст дилогии вместе с его функцией. Так же, как в «Ш», это событие варьируется; так же, как в «Ш», оно является истоком парадигмы. Цитата не была случайной — ЛЭ помещен на скрещении главных идейных коллизий дилогии и составляет весьма значительный элемент ее содержания и структуры. Настоячивое повторение ЛЭ и разнообразные сцепления с последующими событиями очищают и сублимируют первоначальные ингредиенты ЛЭ. Привычное беспамятство и мгновенное отрезвление при встрече с грубым препятствием (орудием) приобретают глубокий смысл и становятся проводниками главных идей дилогии¹⁰. ЛЭ

⁷ Ср. о черепной коробке и теменной кости в «Петербурге»: разрывая лобные кости, сознание вытягивается в раскрывшуюся брешь [6, с. 119, 187].

⁸ О мистическом символе квадрата в воззрениях Белого см. [1]. Ср. классическое, пифагорейски успокаивающее действие квадрата — очевидно бесцветного, контурного — на Аблеухова («После линии более всех симметричностей успокаивала его фигура — квадрат» [6, с. 33]. Мотив квадрата, начавшийся с фатальной убегающей кареты, проведен по всей дилогии, но идеально-спокойного, пустого квадрата больше нет. Дома предстают как «квадраты, зажатые током пролетов» [14, с. 155]; квадрат, обретает цвет, и значение его расщепляется [14, с. 81]. Черный квадрат всегда подавляет, угрожает: «Черный квадрат, а не память: на глазе сидит» [14, с. 127]. Страшно сочетание черного квадрата с красным: ср. красный квадрат лица и черный квадрат фигуры в облике одного из преследователей Коробкина: «красный квадрат, подбородок, всем корпусом — черным квадратом — ударился...» [14, с. 60]. Особая, уничтожающая роль черного квадрата как свертывающего пространство отчетливо видна в описании поезда, везущего Коробкина и Мандро в Москву, к пыткам: «все собралось в *убегающий черный квадрат*, на котором ярчели (и сверху, и снизу) два *красных фонарика*» [7, ч. 2, с. 197]. Напрашивается аллюзия на «Черный квадрат» Казимира Малевича (1929). Зловещему черному квадрату оптимистически противостоят *светлые* квадраты, открывающие пространство: «квадратец из зелени», «квадрат белевшего садика» [7, ч. 2, с. 239], «распахнулся оконный квадрат» [14, с. 60].

⁹ Белый позаботился о том, чтобы читатель обратил внимание на эту рамку: подстрочное примечание («Бред имеет содержанием события первого тома „Москвы“») отсылает читателя к соответствующему эпизоду в «Москве».

¹⁰ По звучанию «удар» ассоциируется с Мандро-Друа-Домардэном; но, кроме того, он, очевидно, связывается с другими ударами, прозвучавшими в «Петербурге», — это наносимые Медным Всадником «удары металла, раздробляющие камни» [6, с. 11], «удары металла, дробящие жизни» [6, с. 246]. Позволив себе такую интерполяцию, можно пойти несколько дальше и честь заимствованную из «Шинели» лошадь родственницей медного Коня. Эта реминисценция поддержана сходством ситуаций: если лошадь «напускала *ноздрями целый ветер* в щеку» Ак. Ак., то о Коне говорится, что «*пар ноздрей* обдал улицу световым кипятком».

превращается в ось, на которую нанизывается весь сюжет и которая ведет Коробкина к прозрению, к осознанию истинных законов вселенной и собственного места в ней, к свершению суда над самим собой — к прощению Мандро и к уничтожению своего открытия.

Присмотревшись, можно удостовериться, что не только ЛЭ сближает знаменитого и заносчивого Коробкина со скромнейшим Башмачкиным. Можно показать, что у них довольно много сопоставимых качеств. Сколь бы ни были различны дела, отвлекающие Ак. Ак. и Ив. Ив. от видимого мира — у обоих любимые занятия сводятся к *писанию*. Гипертрофированная незаметность *насекомых* и равнодушие к ним. Ак. Ак. противостоят гипертрофированному присутствию насекомых в «Москве» и яростно враждебному отношению к ним Коробкина. И Башмачкин, и Коробкин разговаривают особенным образом, отклоняющим речь в сторону «невнятицы». У обоих есть *служебные обиды*, с которыми они справляются каждый по-своему, в соответствии со своим отношением к реальности, но не апеллируя к посторонним. Однако по поводу своих уличных столкновений оба зывают к *закону*. Заслуживает внимания и одежда: оба ходят дома в изношенных *халатах*, Ак. Ак. — «в демикотоновом», Ив. Ив. — в «ветшаном». И даже злоключения с «шинелью на толстой вате» стороной проникают в жизнь Коробкина: соболья шуба, которую он должен купить для дочери, «не по карману» ему, а енотовая шуба, подаренная им брату, украдена.

На фоне многочисленных общих свойств Ак. Ак. и Ив. Ив., их идентичные столкновения с лошадиными мордами выступают как отчетливые акценты — ибо оба ЛЭ спровоцированы именно общими свойствами Ак. Ак. и Ив. Ив. Объем этой статьи не позволяет рассмотреть здесь родственные черты Ак. Ак. и Ив. Ив. и показать, что во всех деталях отразилось то самое сходство/различие в отношении к видимому и невидимому, которое четко проступает в ЛЭ: оба мечтателя с трудом возвращаются от размышлений к действительности, но Ак. Ак. проходит сквозь мир видимый, а Ив. Ив. насильственно врывает абстракцию в реальность.

Вклад Ак. Ак. в образ и судьбу Коробкина оказывается чрезвычайно конструктивным. С другой стороны, родство с героем Белого корректирует нам облик Башмачкина. Возможно, что через призму «Москвы» и «Масок» можно будет увидеть и другие незамеченные аспекты все еще загадочной повести Гоголя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Steinberg A. Fragmentary «prototypes» in Andrey Bely's Novel «Petersburg». — SEER, 1978, v. 56, № 4, s. 522—545.
2. Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1966.
3. Steinberg A. Время и пространство в романе Белого «Москва». — In: Andrej Belyj: Pro et Contra. Atti del 1° Simposio Internazionale Andrey Belyj (Estratti). Milano, 1986, p. 237—246.
4. Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1934.
5. Белый А. Непонятный Гоголь. — Советское искусство, 1933, № 4.
6. Белый А. Петербург. М., 1978.
7. Белый А. Москва. М., 1926.
8. Гоголь Н. В. Шинель. Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1938, с. 141—174.
9. Белый А. Начало века. М., 1990.
10. Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя. Поэтика. Т. 1. Пг., 1919.
11. Чижевский Д. С. О «Шинели» Гоголя. — Современные записки. 1938, т. XXVII, с. 172—195.
12. Driessen F. S. Gogol as a Short-Story Writer. — In: A Study of His Technique of Composition. The Hague, 1965, p. 182—214.
13. Woodward J. The Symbolic Art of Gogol. — In: Essays on his Fiction Columbus (Ohio), 1981, p. 88—112.
14. Белый А. Маски. М., 1932.



СЕРМАН ИЛЬЯ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И ПОЭЗИЯ Н. НЕКРАСОВА

Поэзия Некрасова продолжала быть живым явлением и в начале XX в. Об этом говорит, например, появление статьи Бальмонта «Некрасов» в 1903 г. в журнале Мережковских «Новый путь». Некрасова Бальмонт называет прошедшим «сквозь строй», т. е. перенесшим жесточайшее наказание, а в его творчестве он видит отражение самых страшных черт русской жизни: «Мы с детства узнаем через него, что есть тюрьмы и больницы, чердаки и подвалы; он до сих пор говорит вам, что вот в эту самую минуту, когда мы здесь дышим, есть люди, которые задыхаются» [1, с. 66]. И как вывод из этого: Некрасов создал «музыку диссонансов и живопись уродства» [1, с. 47]. Бальмонт увидел в поэзии Некрасова то, что оказалось всего важнее для Блока и Белого в канун революции 1905 г., прямое отношение ее к русской жизни, действительности со всеми ее противоречиями, с непреходящей внутренней трагедийностью.

После этого уже не покажется неожиданным обращение поэтов-символистов «второго призыва», Блока и Белого, к творчеству Некрасова под воздействием революции 1905 г. Белый уже в 1906 г. писал В. Владимирову: «События у нас закипают с быстротою. Вся Россия в огне. Этот огонь заливаает все. И тревоги души, и личные печали сливаются с горем народным в один красный ужас» (цит. по: [2, с. 144]). И в этих строках уже слышится что-то некрасовское, а в 1907 г. он пишет о «рыдающем страдании» [2, с. 145] русского народа и о своей вере в его будущность. То, условно говоря, некрасовское начало, которое появилось в сознании Белого и определило тематику и тональность стихов «Пепла» обстоятельно исследовано в работах Н. Скатова [3] и Л. Долгополова [2, с. 141—167].

В статье «Настоящее и будущее русской литературы» Белый предложил такое истолкование поэзии Некрасова вообще и стихотворения «Влас», в частности: «Верю, что в редакции „Современника“ Некрасов не помышлял о символическом смысле своих деревенок,— но там в полях...— что он думал, что видел он? Не знаю, только вот какая сила гонит его мужиков...

Холодно, странничек, холодно.
Голодно, родименький, голодно.

Во всяком случае странники Некрасова уже *на шеломене* (т. е. на холме.— И. С.), а один из странников, Влас,— тот прямо перешел за черту положенного, и далеко протянулся его путь: за горизонт наших догматов к „светлому граду жизни“» [4].

Серман Илья — профессор Еврейского Университета в Иерусалиме.

Итак, Белый предлагает нам увидеть «символический смысл» в некрасовских «деревенках». Попробуем проверить это утверждение на двух центральных у Белого и, соответственно, очень важных для Некрасова темах: всенародном пьянстве и странничестве, т. е. на темной и светлой сторонах народной жизни.

Начнем с Некрасова. У него один из персонажей в главе «Пьяная ночь» («Кому на Руси жить хорошо») [5] так объясняет заезжему гостю смысл народного пьянства:

У каждого крестьянина
Душа что туча черная —
Гневна, грозна — и надо бы
Громам греметь отудова,
Кровавым лить дождям,
А все вином кончается.
Пошла по жилам чарочка,
И рассмеялась добрая
Крестьянская душа!

Эти слова Якима Босого близки по смыслу к последней строфе того стихотворения, из которого Белый взял эпиграф к «Пеплу» [6] («Что ни день уменьшаются силы»). Некрасов, и это не удивительно, в 1861 г. полон надежд, он хочет

Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья,
Человеческой крови и слез.

Некрасов, а за ним его персонажи, не видит еще в крестьянском пьянстве бедствия или угрозы для народной жизни, тогда как Белый в «Пепле», обращаясь к России, спрашивает в отчаянии:

...куда мне бежать
От голода, мора и пьянства?

У Некрасова в этой же главе поэмы, выслушав Якима, крестьяне с ним соглашаются:

Нам подобает жить!
Пьем — значит, силу чувствуем!
Придет печаль великая,
Как перестанем пить!

Помня сказанное до сих пор о проблеме воздействия Некрасова на Белого и, соответственно, о переработке «некрасовского» в его поэзии, мы подошли к тому в этих поэтических взаимоотношениях, что дает возможность сквозь призму стихов Белого увидеть в некрасовской поэзии и особенно в разработке у него деревенской темы нечто новое.

В некрасовской поэме, написанной во второй половине 1860-х годов, нет ни в самочувствии крестьян, ни в их отношении к «питью» того безысходного трагизма, которым проникнуты все деревенские стихи «Пепла». И в позднее написанной главе поэмы «Пир на весь мир» радость по поводу освобождения от крепостной зависимости придает крестьянскому веселью действительное значение «пира»:

У каждого в груди
Играло чувство новое,
Как будто выносила их
Могучая волна
Со дна бездонной пропасти

На свет, где нескончаемый
Им уготован пир!

К какому «свету» поднимутся, — как думает Некрасов, — персонажи поэмы, а вместе с ними и все русское крестьянство, теперь, когда оно стало свободно? Это не тот «свет», о котором говорит Белый и к которому, по его мнению, стремится Влас. «Свет» у Некрасова многозначен: это и свет свободы, и свет просвещения, и «светлое» будущее вообще, нарисовать которое невозможно. Некрасов, когда он писал «Пир на весь мир», еще не испытывал той тревоги за будущие судьбы пьющего народа, которую высказывали уже в 1870-е годы Достоевский и Тургенев. Они с тревогой и отчаянием писали о страшной опасности всеобщего народного пьянства. В 1873 г. Достоевский пишет в «Дневнике писателя» о язве «всенародного пьянства» (см. [7]). И объясняет почему, по каким высоким государственным соображениям с пьянством невозможно бороться. О народном пьянстве заговорил с тревогой и отвращением И. С. Тургенев в романе «Новь» (1876), изобразивший всенародное пьянство в тех же тонах, что и Кишенский: «Дело было под воскресенье; на улицах уже не было прохожих, но в кабаках еще толпился народ. Хриплые голоса вырывались оттуда, пьяные песни, гнусливые звуки гармоник, из внезапно открытых дверей било грязным теплом, едким запахом спирта, красным отблеском ночников /.../, растерзанный, распоясанный мужик в пухлой зимней шапке, свесившейся мешком на затылок, — выходил из кабака — и, прислонившись грудью к оглоблям, пребывал недвижим, что-то слабо ощупывая и разводя и шаря руками; или худощавый фабричный в картузе набекрень, с выпущенной китайчатой рубахой и босой — сапоги-то остались в заведении — делал несколько нерешительных шагов, останавливался, чесал спину — и, внезапно ахнув, возвращался вспять... — Одолевает вино русского человека! — сумрачно заметил Маркелов» [8]. А пропаганда, которую хочет вести в народе Нежданов, один из героев «Нови», оказывается возможной только в бредовой кабацкой атмосфере.

В «Пепле» Белый ближе к романистам, Тургеневу и Достоевскому, чем к поэту-Некрасову в изображении страшного по своему масштабу и действию пьянства русской деревни начала XX в. Прошло немногим более четверти столетия после того, как высказали свою тревогу Достоевский и Тургенев. Белый писал, имея в виду деревню начала XX в., когда результаты повального пьянства, очевидно, стали заметны всем, а в его поэтическом сознании оно (пьянство) стало симптомом всеобщего морального падения:

Что там думать, что там ждать:
Дунуть, плюнуть — наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.

Поэтическая острота и драматизм у Белого — в данном случае — идут от исторической ситуации. И символика стихов «Пепла» может прочитываться двояко — и в конкретно-историческом плане (Россия в годы первой революции) и в символическом значении — как отражение космического зла, Россию губящего.

У Белого в стихах «Пепла» нет веры в Россию, в ее будущее, о которой он еще говорит в письмах, веры, составлявшей силу Некрасова-поэта. Веру в народ и в его формирующееся самосознание убежденнее всего Некрасов высказал в главе «Пир на весь мир», когда он обратился к теме странничества, которую он ранее гениально разработал в стихотворении «Влас». Здесь же Некрасов говорит о том, как влияет странничество на народную жизнь и народное мировоззрение:

Кто видывал, как слушает
Своих захожих странников

Крестьянская семья,
Поймет, что ни работою,
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь.

.....
...почва добрая —
Душа народа русского...
О сеятель! Приди!..

В чем же причина того, что, взамен исторического оптимизма у Некрасова, Белый в своих деревенских стихах ничего, кроме безнадежности и отчаяния, высказать не может? Основное различие между двумя поэтическими подходами к русской деревенской жизни коренится в той социально-психологической позиции, которую каждый из поэтов занимает. Белый в деревне человек со стороны и потому, в частности, он так часто смотрит из окна «вагона», но и тогда, когда он видит деревню не проездом, она для него нечто чужое, чуждое и страшное. Деревня, по Белому, во власти каких-то непонятных ему злых сил, одним из носителей которых является кабак.

Некрасов, в отличие от автора «Пепла», видел свой народ в истории, т. е. в смене социальных условий и исторических ситуаций. Он не нуждался в подмене вещей предметного мира народной жизни их символическими значениями. Он всегда верен истории, даже, когда объектом поэтического изображения у него становится многовековая действительная история его страны:

Есть и Руси чем гордиться —
С нею не шути!
Только славным поклониться —
Далеко идти.
Вестминстерское аббатство
Родины твоей —
Край подземного богатства
Снеговых степей.

Сопоставление «некрасовских» мотивов «Пепла» с собственными стихами Некрасова позволяет нам найти объяснение того, что этих поэтов разделяет и что является определяющим, органическим содержанием деревенских стихов Некрасова. Известно, как много и часто писал Некрасов о своей разобщенности с народом и какие трагические ноты это сознание у него вызывало, но, в то же время — и это не надо доказывать — все, что он писал о деревне, пронизано таким чувством своего сродства с деревенской жизнью, таким пониманием ее изнутри, какого до Есенина в русской поэзии не было. И дело здесь не в каких-либо идеологических предпосылках, а в той социально-психологической ситуации, в которой находилась мыслящая часть русского дворянства, выраставшая в непосредственной близости и в общении, особенно в детстве, с деревенским миром.

Некрасов, в отличие от Белого, не искал следов присутствия злых сил в русской деревне, в загадках ее бытия. Он был убежден, что народ, несмотря на вековое рабство, сохранил свою веру, свою религию. В религии видел Некрасов залог лучшего будущего народа, освобожденного от рабства. Ему казалось, что нравственно народ может распрявиться и найти настоящее применение своим душевным силам. Позднее Мережковский утверждал, что «Некрасов извне атеист, внутри верующий» [9] — в этой слишком схематической оценке одно верно — религия, православие в своем идеальном содержании было тем, что сближало Некрасова-поэта с народом и помогало ему видеть русскую деревню не взглядом напуганного заревом горящих

усадеб горожанина, а проникнуть во все тайны психологии деревенского жителя, которые не были для него тайнами. Конечно, можно думать, что и Некрасовский подход к «душе» русского народа, по-видимому, в ходе истории тоже не оправдался. И стихи «Пепла», несмотря на всю свою фантастичность и гротескность, верны исторической ситуации начала века.

Но это уже другая проблема. Моя задача была иная, мне хотелось показать, что сопоставительный анализ асинхронных поэтических явлений может быть направлен *обратно во времени* и может помочь понять поэта-предшественника сквозь призму поэзии его последователя, т. е. совершить не часто осуществляемую, но, как кажется, продуктивную исследовательскую операцию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новый путь, 1903, № 3.
2. Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.
3. Скотов Н. «Некрасовская книга» Андрея Белого («Пепел»). — В кн.: Н. А. Некрасов. Со-временники и продолжатели. М., 1986, с. 197 — 233.
4. Белый А. Настоящее и будущее русской литературы. — В кн.: Куда мы идем? М., 1910, с. 16.
5. Некрасов Н. А. Сочинения в 3 т. Т. 1. М., 1953.
6. Белый А. Стихотворения и поэмы. 2-е изд. М.-Л., 1966.
7. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 21. Л., 1980, с. 91.
8. Тургенев И. С. Собрание сочинений в 12 т. Т. 4. М., 1954, с. 256—263.
9. Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии. М., 1915, с. 121.



ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ПОЭТИКОЙ АНДРЕЯ БЕЛОГО: ЛИЦЕМЕРИЕ КАК ТЕКСТОПОРОЖДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Обвинение в лицемерии предъявлялось А. Белому неоднократно — и при его жизни, и после смерти. Начиная с 1906 г., когда Белый (в силу известных личных обстоятельств, прежде всего) начал яростно нападать на своих прежних друзей и союзников, он постоянно прибегал к лицемерию как к инструменту литературной борьбы. Более того, если верить самому Белому, лицемерие было осознанно принято им как ключевой принцип, организующий его поведение, еще в семилетнем возрасте. В мемуарах 1928 г. «Почему я стал символистом...» Белый писал, что именно в этом возрасте он, почувствовав борьбу за его «я» между родителями, «инстинктивно выдумал им фиктивные „я“». С тех пор, продолжал Белый, «я пришел /.../ к идее многообразия, комплексности индивидуума» и к «вопросу о режиссуре» этого многообразия, с тех пор «линия моего поведения во всех коллективах, где мне приходилось работать, всегда была эмблемой, знаком, личиной», с тех пор «мое „я“ с удивлением стояло перед другими „я“, не понимавшими проблему многообразия и режиссуры» [1].

Что же означала эта стратегия поведения, которую Белый именуется *режиссируемой применительно к требованиям разных коллективов комплексностью поведения* и которую я здесь — для большей ясности, простоты и краткости — обозначаю как «лицемерие»? Что означала эта стратегия на практике — как фактор, действующий в конкретной ситуации текстопорождения? Какой реальный механизм лежал в ее основе? Как я попытаюсь здесь показать, на этот ряд вопросов можно дать следующий общий ответ: процесс порождения литературных текстов и «текстов поведения» Белого (а принципиальная однопорядковость и взаимопроникновение первых и вторых у Белого — факт широко известный) был отмечен фундаментальной исходной раздвоенностью авторской позиции по отношению к ее ценностно значимым объектам; эта раздвоенность далеко выходила за обычные (довольно, заметим, широкие, ибо не напрасно же замечено Аристархом: «Много лгут певцы») пределы и воплощалась в систематическом порождении пар текстов (или пар групп текстов), содержащих полярные ценностные интерпретации некоторого общего тематического материала.

Рассмотрим теперь некоторые конкретные примеры такой раздвоенности. В октябре 1932 г., выступая с речью на I Пленуме Оргкомитета Союза советских писателей, Белый заявил о своей готовности «провести сквозь детали своей работы идеологию, на которую указывают вожди», заявил о

своим полным приятием нового, советского коллективизма, преодолевающего личность, — и все это языком, важнейшим компонентом которого был характерный словарь официальной критики [2, с. 680—681]. И в то же самое время у себя дома Белый заносил на бумагу утверждения совсем иного рода, пользуясь совсем иным слогарем, скажем, впечатления от следующей увиденной им сцены. На Девичьем поле советские дети со зверскими лицами дразнили верблюда. И вид этого верблюда был гораздо более «духовным», отмечал Белый, чем вид этих детей. Мы, продолжал он, имея в виду символистов, говорили о необходимости преодоления личности, о сверхличности, а тут даже и личности никакой нет, тут просто какие-то звери... Здесь все очень характерно: и то, что Белый относит свой коллективистский имперсоналистический пафос только к прошлому, как будто бы забывая, что он и в книгах, и в публичных выступлениях своих продолжает этому пафосу следовать, и то, что как «зверей» он третирует членов того самого великого и прекрасного коллектива, в котором он столь искренно искал и находил, начиная с середины 20-х годов, воплощение Идеала. Конечно, этот казус легко можно было бы записать на счет советского двоемыслия — если бы не следующий, например, сообщаемый Н. Валентиновым, эпизод, относящийся к 1908 г. Валентинов излагал перед Белым идею погашения «я» в «конгрегальной системе» будущего социалистического общества. Вдруг Белый остановил его, «подбежал к двери, заглянул направо и налево, как бы желая проверить, не слушает ли /.../ кто-нибудь», «кинулся» к Валентинову и прошептал: «Форточку не забудьте!». В ответ на вопрос изумленного Валентинова: «Какую форточку?», Белый разразился монологом, в котором развернул целую антиутопию: «О, я вижу ясно это конгрегальное общество. Ночь. Над всем отвратительный серо-желтоватый мутный цвет. Вижу дортуары, тысячи, сотни тысяч, миллионы кроватей /.../. На кроватях спят „мы“ /.../. Чудовищная машина наделала миллионы одинаковых кукол /.../. Я задыхаюсь от дыхания этих миллионов /.../. Я вскакиваю с моей кровати и крадусь к форточке /.../. Оттуда идет свежий воздух. Какое счастье! /.../». Валентинов был поражен: этот монолог явно противоречил всему, что говорил и писал Белый о вселенской любви, соборности, преодолении личности, коллективизме и социализме. Но, когда он указал Белому на это противоречие, то услышал в ответ лишь следующее: «То, что я сказал, это наш секрет. Это по секрету — Вам одному» [3, с. 93—95].

Как понять этот эпизод? Сам Валентинов был склонен видеть в нем свидетельство того, что все рассуждения Белого о коллективизме были просто маской, за которой скрывался подлинный Белый — крайний и безудержный индивидуалист [3, с. 95—96]. Я не думаю, что это истолкование справедливо, что Белый-индивидуалист был более подлинным, чем Белый-коллективист, или наоборот. Единственное, что можно в данном случае утверждать — что в тот момент у Белого было две различных позиции по данному вопросу, причем одна — «официальная», публикуемая в ряде собственно литературных текстов, а другая — частная и приватная, публикуемая в «тексте общения», в «тексте бытового поведения».

Раздвоение авторской позиции Белого по этим двум рядам — «собственно литературных текстов» и «текстов приватного общения» — совсем не обязательно приводило его к одновременному выдвиганию полярных идеологических концепций. Оно могло сводиться и к идеологически бесконфликтному расслоению образа автора. Яркий пример такого расслоения — знаменитая история отношений Белого с М. К. Морозовой. Сюжет этой истории прост. Весной 1901 г. М. К. Морозова начала получать исполненные мистической любви письма, подписанные: «Ваш Рыцарь». Спустя два года она купила в книжном магазине «Вторую (драматическую) симфонию»

Белого и обнаружила в ней знакомые выражения. Еще через два года она познакомилась с автором этой книги, и Белый завязал с ней дружеские отношения. Он предстал перед ней как живой, веселый и общительный человек, великолепный мастер импровизированных устных рассказов (некоторые из них он исполнял, сидя под столом, наполовину укрывшись скатертью). Время от времени М. К. Морозова продолжала получать письма «Рыцаря», но в личном общении об этих письмах и рэчи не было (см. [2, с. 522—545], ср. также [4]). Белый, таким образом, строил свои отношения с нею на двух принципиально несообщающихся уровнях: 1) *на уровне письменного общения* — как некоторый литературный макротекст (частями которого были личные письма, получавшие в данном случае статус литературных публикаций, «Вторая симфония», ряд стихотворений и поэма «Первое свидание»), объединенный высоким образом автора — мистического влюбленного, высоким образом адресата — земного воплощения Вечной Жены и комплексом высоких мифопоэтических ассоциаций; 2) *на уровне устного общения* — как серию театрализованных импровизаций, объединенных сниженными образами автора и адресата и сниженным же тематически материалом. И если мы спросим теперь, каким было «подлинное» отношение Белого к М. К. Морозовой, то вряд ли сможем что-нибудь ответить на этот вопрос, кроме следующего: такое отношение было просто подчиненной функцией двух различных текстопорождающих механизмов, игрой двух различных кодов.

То «лицемерие», то «двоумыслие», которое Белый проявлял и в рассмотренных эпизодах (а применительно к последнему из них мы можем использовать эти определения только как чисто структурные, вне всяких моральных коннотаций), и в массе других случаев, естественно вытекало из весьма специфического представления о самоидентичности личности, которое ему было присуще. Сохранение личностной самоидентичности означало для Белого не соблюдение верности своим убеждениям, не единство авторского ценностного отношения к миру, не единство мировоззрения и т. д., но сохранение *принадлежности*. В этом смысле очень характерно уже само название мемуаров Белого «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (курсив мой.— В. П.). В этом тексте, как и в других мемуарах середины 20-х годов («Воспоминания о Рудольфе Штейнере», «Материал к биографии (интимный), предназначенный для публикации только после смерти автора»), Белый не устает повторять, что все лавирования и измены его жизни были проявлением верности, верности как принадлежности — символизму, антропософии. А потом он создает свою известную мемуарную трилогию, в которой провозглашает свою новую верность, новую принадлежность — теперь уже к советскому коллективу, причем провозглашает ее не как новую, но как существовавшую всегда, «на всех этапах». Многие видели в этом сознательное лицемерие, но если лицемерие здесь и было, то именно и только как текстопорождающий механизм: в субъективном смысле Белый был вполне искренен, он вполне искренне пытался соединить свои старые коллективные верности с новыми. Другое дело, что моральная система, которой Белый руководствовался, резко отличалась от общепринятой в XX в.: эта моральная система — весьма, заметим, архаическая — была основана на представлении о знаковом характере личности — как «личины», как маски, существующей только в рамках «воот этой» социальной структуры и сменяемой при переходе в другую. Конечно, образ Андрея Белого — *рыцаря, без ущерба для своей чести верно служившего разным сеньорам* — с точки зрения истории морали выглядит явным анахронизмом. Но не следует упускать из виду, что Белый-писатель, широко эксплуатируя в своих романах, начиная с «Петербурга», персонологическую концепцию являющуюся источником этого образа, произвел целую революцию в области

художественного построения: он начал строить и образ автора-повествователя, и персонажи как комплекты «личин», сменяемых от одного участка повествовательной структуры к другому¹.

Собственная личность не существовала для Белого вне и помимо процесса текстопорождения, и он сам не раз об этом говорил. Так, в статье «Магия слов» он писал: «В слове дано первозданное творчество; слово связывает бессловесный, незримый мир, который роится в подсознательной глубине моего личного сознания, с бессловесным, незримым миром, который роится вне моей личности /.../, в слове и только в слове воссоздаю я для себя окружающее, ибо я — слово и только слово» [7]. Еще более остро, хотя и с некоторым новым оттенком, Белый выразил ту же мысль в поэме «Первое свидание»: «Я — стилистический прием, Языковые идиомы» [8]. И это не были просто слова. Белый строил свое «я» как нечто полностью сливающееся с единым гипертекстом своих «жизни и творчества»; и если по отношению к составляющим этот гипертекст феноменальным текстом его «я» вело себя как *автор*, то на уровне всего гипертекста в целом оно обнаруживало свойства *персонажа*, причем персонажа именно в духе поэтики Белого — комплекта «личин», сменяемых при переходе от одного участка текстовой структуры к другому.

Один из наиболее часто повторяющихся Белым упреков в адрес современников — упрек в душевной пустоте. «Талантливым изобразителем пустоты» назвал он Блока. То же самое говорил он и о Ф. Сологубе. В статье «Маски» он писал: «Все без исключения затыкают масками зияющую глубину своих душ, чтобы из пропасти духа не потянуло сквозняком» [9]. Но Белый не только других обвинял в «пустоте», «нестрое», «невнятице», но и сам признавался, и не раз, в том же самом (ср., например, в его письме Пастернаку: «Я жив не собой; жив из глаз тех, кто с сердечностью взирал на меня, тем самым меня строят, ибо сам я нестрой» [2, с. 699]). Эта самооценка явно противоречит приведенному выше утверждению Белого о сознательно режиссируемой комплексности его поведения — утверждению, базирующемуся на предпосылке значительной содержательности личности. Однако в одном существенном отношении обе самооценки взаимодополнительны. Если личность стихийна и бесструктурна сама по себе, то структурность ей придает именно разнообразие «коллективов», в которых ей «приходится работать». Только обращаясь к «коллективу» (или к отдельной личности, получающей в процессе коммуникации статус такового, — «коллективом» были для Белого и Н. Валентинов, и М. К. Морозова, и сам Белый, в текстах автокоммуникативного характера) личность структурируется, обретает *облик* (который всегда не «лицо», а «личина»), начинает функционировать как текстопорождающий механизм, продуцирующий осмысленные тексты. И «лицемерие» предстает здесь как фундаментальное средство структуризации, оформления личности.

Смена «коллектива»-адресата более или менее автоматически означала для Белого смену «личины». Но характер такой смены далеко не всегда определялся характером реакции Белого на требования соответствующего «коллектива». Важная роль принадлежала здесь также и коммуникативной ситуации, в которой Белому предстояло проявить себя. Как явствует из приведенных выше примеров, решающий отпечаток на маску — «образ автора» накладывала сама предназначенность текста — к широкой публикации ли, к публикации ли частной и приватной, для одного собеседника («по секрету»), к «публикации» ли для самого себя и т. д. Таким образом, «лицемерное» раздвоение авторской позиции оказывается, в определенном

¹ Об этой особенности поэтики А. Белого см., например [5]; ср. также весьма ценные наблюдения над техникой смены масок повествователя в [6].

смысле, следствием семиотической разнородности текстопорождающего процесса как такового. В этой связи интересно отметить, что вокруг каждого крупного произведения А. Белого вращаются своего рода «сателлиты» — малые тексты, обыкновенно театрализованного «поведенческого» характера, с существенно иными, чем у их «звезды», ценностными ориентациями. Приведу здесь только один пример, используя в качестве источника мемуары Н. Валентинова, пример, связанный с историей замысла романа Белого «Петербург». Н. Валентинов вспоминает, как в августе 1908 г. он был приглашен Белым сопровождать его в Петровско-Разумовское, в Сельскохозяйственную академию. По дороге и в парке Белый хулил Достоевского, именуя его «лжепророком» и «лживым попом», хулил Шатова как представителя «лампадной реакции», утверждая, что Шатова (а следовательно, и его прототип — студента Иванова) убили правильно, что он уважает Нечаева и т. д. В ответ на возражения Н. Валентинова, Белый обвинил его в страхе перед «взрывом» — настоящей, большой революцией, а затем впал в иступленный гнев. Наступил момент, когда Н. Валентинов почувствовал, что еще немного — и Белый его ударит. Он замурился — и услышал ласковые слова Белого, приглашающие его продолжить путь [3, с. 174—178]. Сам Н. Валентинов истолковал этот эпизод как свидетельство того, что роман «Петербург» был задуман в духе крайней революционности и что только последующее «пленение Белого „Вехами“ Гершензона» изменило замысел [3, с. 201, 213—214]. Я думаю, однако, что это истолкование неверно¹. Перед поездкой, по свидетельству Н. Валентинова, Белый сказал ему, что он должен кое-что «понюхать» для своего нового романа. И Белый и в самом деле «понюхал»: он *разыграл* (с Н. Валентиновым в роли жертвы) знаменитую сцену убийства студента Иванова — и одновременно — соответствующую сцену «Бесов». У нас нет никаких оснований отождествлять *всю* позицию Белого с тем образом автора — «нечаевца», в котором Белый предстал в рамках разыгранной им перед Валентиновым импровизации. Не является аргументом в пользу такого отождествления и то обстоятельство, что спустя несколько месяцев во время острого спора Валентинова с Гершензоном Белый упорно отмалчивался, отказываясь поддержать Валентинова в его попытках защитить Революцию [3, с. 204—208]. Образ Белого — «нечаевца» был создан *ad hoc*, и в новой коммуникативной ситуации не имел смысла. Белый молчал *закономерно*: очевидно, что Гершензону он предьявлял совершенно иной образ себя и совершенно иную «концепцию революции», чем Валентинову, и при наличии двух столь полярных по своим требованиям «коллективов»-адресатов он мог порождать лишь нулевой текст молчания. Что же касается романа «Петербург», то здесь мы легко можем видеть совмещение обеих контрастных позиций Белого — позиции вдохновенного пророка Революции (как Преображения Мира, разумеется) и позиции столь же вдохновенного пророка грядущего Хаоса. Другой вопрос — что в «Петербурге» контраст этих позиций приведен к диалектическому синтезу, и что «коллектив»-адресат романа также синтетичен, являя собой диалектический синтез потенциально «всех» контрастных реальных «коллективов». В этом смысле устройство «Петербурга», как и других «больших» текстов, текстов-«звезд» Белого, оказывается идеальной моделью устройства всего самопорождающегося макротекста его жизни и творчества: то, что на уровне реальности было «бесконечным мельканием личин», на уровне идеальной модели представало как полностью отрефлектированная и отрезжиссированная комплексность².

¹ Ср. на тему о Белом и Гершензоне [10].

² Далеко не случайной выглядит в этой связи та роль, которая принадлежит самой *теме маски* во всех «больших» текстах Белого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Белый А.* Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. *Ann Arbor*, 1982, с. 11—12.
2. *Андрей Белый.* Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988.
3. *Валентинов Н.* Два года с символистами. Stanford, 1969.
4. *Лавров А. В.* Мифотворчество аргонатов.— В кн.: Миф. Фольклор. Литература. Л., 1968, с. 152—153.
5. *Паперный В. М.* Андрей Белый и Гоголь.— Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 620, 1983, с. 96—98.
6. *Силлард Л.* От «Бесов» к «Петербургу»: между полюсами юродства и шутовства.— In: *Studies on 20th century Russian Prose.* Stockholm, 1982.
7. *Белый А.* Символизм. Книга статей. М., 1910, с. 430.
8. *Белый А.* Стихотворения и поэмы. М.— Л., 1966, с. 405.
9. *Белый А.* Арабески. Книга статей. М., 1911, с. 145.
10. *Levin A.* Andrey Bely, M. O. Gershenzon and *Vekhi*: A Rejoinder to N. Valentinov.— In: *Andrey Bely. A critical review.* Lexington, Kentucky, 1978, p. 168—180.



ВЕРОЯТНОСТНЫЕ АССОНАНСЫ

Эта заметка — отчет об одной неподтвердившейся гипотезе. Может быть, она сэкономит время и силы будущих исследователей, а автору оставит сомнительное утешение мыслью, что отрицательный результат — тоже результат.

1. Иннокентий Анненский в своей последней статье «О современном лиризме» так восхищался звукописью Блока: «Грудь расширяется, хочется дышать свободно, говорить „А“: „И медленно пройдЯ меж пьяными, / Всегда без спутников, одна, / ДышА духАми и тумАнами...“ /... „Она садится у Окна“. Ее узкая рука — вот первое, что различил в даме поэт. ... И вот широкое А уступает багетку узким Е и У. За широким А сохранилось лишь достоинство мужских рифм: „И вЕют дрЕвними повЕрьями / Ее упрУгие шЕлка, / И шляпа с траУрными пЕрьями, / И в кольцах Узкая рУка“. ... Вам почти до боли жалко кого-то. И вот шепчут только губы, одни губы, и стихи могут опираться лишь на О и У: „И перья страуса склонЕнные / В моЕм качаются мозГУ /... И Очи синие, безОнные / ЦветУт на дальнем берегу...» [1].

Впечатление, описанное Анненским, несомненно, знакомо каждому внимательному читателю стихов. Почему мы ощущаем стихи Блока как по-вышенно благозвучные, плавные, по сравнению, например, с Некрасовым? Может быть, потому, что в них продуманнее, гармоничнее расположены опорные гласные звуки: «О весна без конца и без краю, / Без конца и без краю мечта!», «Похоронят, зарюют глубоко, / Бедный холмик травой порастёт»? Такое предположение требует проверки: действительно в стихах Блока однородные последовательности ударных гласных встречаются чаще естественной последовательности, или нет?

2. Основным материалом для проверки был взят блоковский 3-х стопный анапест — нарочно трехсложный размер, потому что в нем сильные позиции всегда заняты ударными гласными, слух их уверенно ждет, и поэтому они ощущаемее, чем в ямбах и хорях, где возможны пропуски ударений на сильных позициях. Всего в трех томах Блока в четверостишиях с окончаниями ЖМЖМ оказалось почти 900 стихов 3-х стопного анапеста; недостающие три четверостишия были взяты из одного стихотворения 1903 г., не вошедшего в трехтомник. Подсчет по отдельным сотням стихов показал, что объем этот достаточный: от прибавления новых сотен средние показатели меняются не больше, чем на 1—2%.

Вспомогательным материалом был взят блоковский же 4-х стопный ямба — тоже из четверостиший с рифмами ЖМЖМ. Бралась те его ритмические формы, которые состоят из трех слов. Таких форм три: так называемая II (с пропуском ударения на 1-м стопе: «И прогремят останки

бАшен...»), III (с пропуском ударения на 2-м стопе: «Ты знАешь ли, какАя мАлость...») и особенно частая IV (с пропуском ударения на 3-м стопе: «ПускАй замАнит и обмАнет...»). В трех томах Блока строк этих ритмических форм оказалось соответственно 263, 272 и 1191.

Для сравнения необходима статистика ударных гласных в естественной или хотя бы прозаической речи. Как ни странно, ею почти никто не занимался; только К. Ф. Тарановский в 1965 г. сделал подсчет по разговорной речи (по «10 000 звуков» А. М. Пешковского в [2] и по «Пиковой даме»). Мы вдобавок сделали подсчет по 1500 слов из «Мертвых душ» Гоголя и из «Хозяина и работника» Толстого. Результаты получились немного расходящиеся, но все укладываемые в такое отношение: А : Е : И : О : У = 3 : 2 : 2 : 2 : 1¹. Заметим, что существующая статистика всех вообще гласных, ударных и безударных, несколько иная: А : Е : И : О : У = 3 : 2 : 2 : 3 : 0, на У — Ю приходится менее 10% всех гласных (см. [3]). Среди ударных, таким образом, меньше О и больше У, и отчетливей общее преобладание А.

3. Эти пять ударных фонем в трехсловном стихе объединяются в сочетания по три. Таких сочетаний может быть 35: а именно, 5 сочетаний по 3 одинаковых гласных, «О веснА без концА и без краЮ», ААА; 20 сочетаний по 2 одинаковых и 1 отличной гласной, «В заколдОванной Области плАча», ООА; и 10 сочетаний по 3 разных гласных, «УзнаЮ тебя, жИзнь, принимАю», УИА. Каждое из этих сочетаний (кроме однородных) в свою очередь допускает несколько перестановок: например, наряду с ООА, «В заколдОванной Области плАча» — ОАО, «За далЁким рычАньем прибоЯ», и АОО, «ОтдыхАет осЁл утомлЁнный». В эти подробности мы обычно не входили, чтобы не слишком дробить материал.

Зная частоту ударных гласных в естественной речи, мы можем теоретически рассчитать вероятность каждого из их сочетаний по три. Эту вероятностную модель мы строим так же, как Б. Томашевский и А. Колмогоров строили свою гораздо более сложную вероятностную модель 4-х стопного ямба (см. [4]). А именно, частоты ударных гласных, входящих в каждое сочетание, перемножаются; полученные произведения суммируются; и тогда процентная доля каждого произведения от этой суммы будет вероятностной частотой соответственного сочетания ударных гласных. Не входя в промежуточные подробности, сразу скажем результаты. Если поэт не преследует специфически художественных задач и следует только естественным языковым тенденциям, то однородные сочетания типа ААА составят около 5% всех стихов, полуоднородные типа ААО — 50%, разнородные типа АЕО — 45%.

Сопоставим с этим данные по прозе. Разобьем прозу Гоголя совершенно механически на трехсловные отрезки и посмотрим на сочетания ударных гласных в них. Получается: однородных 6%, полуоднородных 48%, разнородных 46%. Совпадение полное: прозаик следует только естественным языковым тенденциям.

4. Теперь сопоставим с этим данные по стиху. Получается: среди 900 анапестов Блока однородных сочетаний — 7%, полуоднородных — 50%, разнородных — 43%. Среди 1726 трехсловных ямбов Блока картина та же: однородных — 5—7%, полуоднородных — 49—51%, разнородных — 42—46%. (Немного отклоняется от этих средних только III форма ямба — 7 : 44 : 49%, разнородности больше, чем полуоднородности.)

Совпадение опять-таки практически полное: поэт следовал только естественным языковым тенденциям. Наша гипотеза о причинах благозвучия блоковских стихов не подтверждается: никакого специального внимания подбору однородных ударных гласных поэт систематически не уделял.

¹ И и Ы мы позволяем себе считать одной ударной фонемой, потому что в ключевом месте фонетической структуры стиха, в рифме они эквивалентны: «бЫть — ходИть» — обычная законная рифма.

Подчеркиваем: «систематически»; эпизодически, ради звукового курсива, он, конечно, мог это делать и в таких случаях, как «О весна без конца и без края» или «Похоронят, зарюют глубокою», где по два однородных стиха следуют подряд, он, вероятно, подбирал звуки вполне сознательно. Но это — уже только ради локальной выразительности, вне статистических закономерностей. Искать причины благозвучия блоковского стиха нужно где-то в другом месте.

Мы попробовали проверить также, нет ли разницы во встречаемости различных вариантов полуоднородных сочетаний: может быть, тип ААО встречается чаще или реже, чем АОА или ОАА? Оказалось: нет, встречаемость их в стихах Блока одинаковая, треть на треть (в прозе — тоже). Лишь незначительно чаще этого встречаются во II форме ямба тип ААО («Лишь по ночам, склоняюсь к долинам»), а в III форме и в ранней (1900—1906) IV форме — тип АОА («Случайно на ноже карманном», «Тщета святых воспоминаний»), но даже их частота не превосходит 38—39% от всех полуоднородных строк, и это может быть случайным колебанием.

5. Как было сказано выше, пропорция ударных гласных в «естественной» русской речи — А : Е : И : О : У = 3 : 2 : 2 : 2 : 1. В стихах Блока — точно так же. 2700 ударных гласных в просчитанных анапестях Блока и 5178 ударных гласных в просчитанных ямбах Блока укладываются в это же отношение. Никакого особого отбора на такие-то гласные поэзия не делает.

Мы проверили дополнительно, нет ли отклонений от этой пропорции в гласных рифмующих слов, последних в строке. Оказалось, что есть (по крайней мере, в анапестях), и это единственное отступление от предсказуемости в нашем материале. В анапестах раннего Блока (первые 300 строк, 1900—1906) А, Е, И, О почти одинаково часты и в открывающих женских и в замыкающих мужских рифмах, но У более, чем вдвое чаще в замыкающих мужских. У позднего же Блока (600 строк, 1905—1916) У теряет эту свою замыкающую роль, но ее заступает И — оно приблизительно вдвое чаще в мужских стихах, чем в женских. Напротив, из ровного ряда остальных звуков выступают два, которые предпочитают открывающую роль: появляются в женских рифмах в полтора-два раза чаще, чем в мужских, — это О и Е. Таким образом, типичная рифмовка строф в анапестах зрелого Блока — такая, например, как в «Новой Америке»: «Сквозь земные поклоны да плечи, / Ектеньи, ектеньи, ектеньи / Шопотливые тихие речи, / Запылавшие щеки твои... А уж там, за рекой полною одной, / Где пригнулись к земле ковыли, / Тянет гарью горючей, свободной, / Слышны гуды в далекой дали...».

В целом, рифмующие О + Е при среднем общем проценте 40% дают в начальных стихах анапестических строф 47%, а в конечных 32%; напротив, рифмующие И + У при среднем общем проценте 30% дают в начальных строках только 25%, а в конечных 37%. Иными словами, замыкать строфу Блок предпочитает узкими гласными И и У, т. е. обнаруживает тенденцию к сужению к концу. Это не совсем тривиально: мы помним, что единственный исследователь, занимавшийся фоникой русского стиха систематически, А. Артюшков [5], напротив, считал характерным для русской классики *расширение* к концу если не строфы, то стихотворения, «И погибший тебя благословляет»: это он называл звуковой точкой. У Блока ничего подобного нет: процент А в концовках стихотворений не выше, чем в других местах.

Повторяем: названная тенденция прослеживается только в анапестических стихах Блока. В ямбах его рифмующие гласные не отличаются от средних пропорций, и процент А в рифмах замыкающих мужских строк даже чуть выше, чем в открывающих женских (33% против 26%).

Если, таким образом, на протяжении *строфы* мы наблюдаем в анапестах Блока тенденцию к конечному сужению звуков, то нельзя ли ее заметить и на протяжении *строки*? Мы сделали подсчет для крайних случаев: для

строк, начинающихся ударным А и кончающихся ударным И или У (сужение) и для строк, начинающихся с И или У и кончающихся на А (расширение). Оказывается, разница имеется только в женских строках анапеста: здесь сужающихся строк в полтора раза больше, чем расширяющихся. Мы помним, что для женских строк блоковского анапеста окончания на И, У вообще нехарактерны; стало быть, если эти узкие гласные все же появляются здесь, то Блок старается подчеркнуть их звучание контрастом с начальным широким А. В мужских строках анапеста, в женских и мужских строках ямба (по крайней мере, самой частой, IV его формы) подобных тенденций нет: сужающихся и расширяющихся строк здесь поровну.

6. Таковы скудные результаты первого подступа к сравнительно-статистическому обследованию фоники ударных гласных в стихе: специфически художественных тенденций почти не обнаружено (разве что сужение звуков к концу строфы и строки в части материала), ассонансы оказались вероятностными. По-видимому, приходится признать, что физические эффекты в стихе вызываются явлениями малочисленными и статистически не уловимыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анненский И. Книги отражений. М., 1979, с. 362—363.
2. Пешковский А. М. Сборник статей. Л.— М., 1925.
3. Белоногов Г., Фролов Г. Эмпирические данные о распределении букв в русской письменной речи. Проблемы кибернетики, № 9, 1963, с. 287—288.
4. Гаспаров М. Современный русский стих. М., 1974, с. 21—22.
5. Артюшков А. Звук и стих. Пг., 1923.



ЗАБОРОВСКИЙ Л. В.

НЕДООЦЕНЕННЫЙ ДОКУМЕНТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО?

Не было никакой необходимости смотреть этот источник [1, ф. 96, оп. 1, дела, 1656 г., № 5] — статейный список миссии гонца стольника Н. М. Алфимова, отправленного царем Алексеем Михайловичем к шведскому королю Карлу X Густаву с грамотой в марте 1656 г.: давно уже обработан находящийся в прекрасном состоянии полный вариант этого статейного списка [1, ф. 96, оп. 1, книги, № 38]. Однако на листах с 42 по 54 неожиданно обнаруживается нечто новое и в изученном ранее варианте отсутствующее: грамота царя гетману Б. Хмельницкому от 23 апреля (3 мая) 1656 г. (без начала) с приложением — отпуск документа, т. е. копия подлинника, отправленного в Чигирин, оставленная, согласно принятому порядку, в архиве Посольского приказа.

Важна не столько грамота, сколько приложение к ней с очень интересным содержанием. Определенные аналогии ему имеются лишь в более поздних источниках: в документах посольства от украинского гетмана к царю во главе с сотником Р. Гапоненко, отправленного 5 августа 1656 г. н. ст. [2, с. 518—522]. Но они были подготовлены более трех месяцев спустя после нашего источника — для тех бурных лет срок немалый!

Просмотр архивного листа использования, прилагаемого к документу, удивил: по меньшей мере с 1941 г. дело изучали разные ученые, причем не только скандинависты и специалисты по истории отношений России с Западом в XVII в., которые могли не придать значения этой его части, — среди расписавшихся есть и украинисты, занимавшиеся, в частности, русско-украинскими связями того времени. Казалось бы, документ где-то должен был «всплыть». Но поиски в литературе не дали почти никаких результатов. Понятно, почему он не попал в специальный сборник документации, исходившей из канцелярии Б. Хмельницкого [2]: мы имеем не подлинник, и даже не перевод или список гетманской грамоты, а изложение, в соответствии с тогдашней делопроизводственной практикой, «статей» (фактические инструкции и грамоты гетмана, пересланных с его представителями Алексею Михайловичу), поданных посольством во главе с сотником Д. Якименко и В. Клименко, с ответными резолюциями, составленными в Посольском приказе¹. Но грамота не указана и в дополнительном перечне таких документов, известных по упоминаниям, но не выявленных составителями [2, с. 653, 662]². Даже основательнейший М. С. Грушевский, использовавший при

¹ Вероятно, ввиду важности дела, как было принято в подобных случаях, оно обсуждалось Боярской думой с участием царя.

² Впрочем, в перечне оговаривается, что список этот не является исчерпывающим.

розысках в архивах, в том числе московских, группу помощников, смог указать лишь несколько отрывочных упоминаний о посольстве Д. Якименко [3, с. 1192, 1206, 1209]. Когда автор этих строк в докладе на международной конференции «Богдан Хмельницкий: человек и эпоха» (Днепропетровск, 18—20 июня 1991 г.) изложил содержание рассматриваемого источника, то это оказалось маленькой сенсацией для собравшихся там специалистов по истории XVII в.

Таким образом, публикуемый документ загадочным образом не попал в широкий научный оборот, хотя и не миновал исследовательского взгляда. Едва ли дело в том, что он не имеет начала: простое сравнение с любой известной царской грамотой Б. Хмельницкому показывает, что утраченными оказались всего несколько строк стандартного характера, содержащих титулатуру Алексея Михайловича. Может быть, исследователей смутил вторичный, даже третичный характер источника. Однако в приказной практике XVII в. подобные материалы встречались нередко, и в тех случаях, когда появляется возможность проверки, видно, что посольские дьяки излагали находившиеся в их руках тексты без искажений (существовала тогда и система проверок). Поэтому нет причин сомневаться, что и в данном случае мы располагаем достаточно точным переложением грамоты и инструкции Б. Хмельницкого.

Источник представляет немалую ценность с разных точек зрения, прежде всего для анализа русско-украинских взаимоотношений в общих рамках эволюции международной жизни в Восточной и Центральной Европе в 1656 г.—одном из этапных моментов во внешнеполитической и военной истории региона. Летом 1655 г. Речь Посполитая, ослабленная многолетней борьбой на Украине, потерявшая ряд важных территорий на востоке в результате первой кампании русско-польской войны в 1654—1655 гг. и имевшая скверные перспективы при возобновлении с марта — мая 1655 г. боевых действий, получила новый опаснейший удар: через Померанию и Прибалтику в нее вторглись отборные шведские армии, одни из лучших в тогдашней Европе. Удар казался завершающим — шведский Потоп прокатился по стране при весьма слабом сопротивлении; уже в начале октября король Ян Казимир укрылся в Силезии, принадлежавшей тогда австрийским Габсбургам; вскоре капитулировал Краков; Великая Польша, часть Литвы (а затем и другие территории), приняли «протекцию» Карла X Густава.

Русско-украинские войска с успехом оперировали тогда в Литве, Белоруссии, на Западной Украине, доходили до Люблина. В политической повестке дня ненадолго появилась идея избрания Карла X на престол Речи Посполитой, обсуждались и первые проекты ее раздела, разные группы магнатов и шляхты Великого княжества Литовского заключали соглашения со шведским королем и царем Алексеем Михайловичем о передаче им великокняжеского трона.

Но в противовес дезинтеграционным явлениям в Речи Посполитой стали набирать силу иные. В этом направлении действовали несколько факторов одновременно. Главные из них — внутренние. Вскоре после шведского вторжения в стране началось партизанское движение против завоевателей с участием не только мелкой и средней шляхты, но и более широких слоев населения. По мере распространения выработанной шведами еще во время Тридцатилетней войны системы содержания войск за счет жителей захваченных земель, роста их ограбления как по государственной, так и по «частной» линиям, сопротивление приобретало все более массовый характер. Это оказывало растущее воздействие на позицию магнатурии и крупных войсковых соединений, до того в основном перешедших на шведскую сторону. Существенную роль играл религиозный фактор, особенно после осады и успешной обороны Ченстоховы, удачно использованных католическим клиром в целях патриотической пропаганды. Важна была и военная сторона дела. Тогдашние армии, высоко профессиональные, но обычно сравнительно небольшие по численности, не были приспособлены для реального

контроля над столь обширными территориями, как Речь Посполитая. Укрепив гарнизонами наиболее важные города, шведское командование ослабило свои полевые силы. С перемещением в ноябре—декабре 1655 г. наиболее боеспособных войск во главе с Карлом X в Пруссию для захвата польской ее части и разрешения возникших противоречий с бранденбургским курфюрстом и прусским герцогом Фридрихом Вильгельмом Гогенцоллерном антишведское восстание стало крупномасштабным, особенно в Малой Польше.

К выгоде Речи Посполитой менялась и международная ситуация. Правда, Карлу X путем жесткого военного и дипломатического давления удалось урегулировать споры с Фридрихом Вильгельмом в свою пользу, но больше в сфере политической, чем в особо важном в тот момент вопросе о поддержке войсками (Кенигсбергский договор от 17 января 1656 г.). Одна из великих держав того времени, Соединенные провинции Нидерландов, держалась враждебного шведам курса, ее флот был введен в Балтику, поэтому, в частности, Карлу X не удалось занять всю Западную Пруссию, ее главный город, Гданьск, остался верным польскому королю. Единственный союзник, который имелся тогда у Речи Посполитой, крымский хан Мехмед Гирей, оказал ей поддержку в самые тяжелые месяцы Потопа действиями своих орд на Украине. Что не менее важно, он энергично высказывался в пользу Яна Казимира, рассылая по Польше соответствующие обращения, и эта позиция хана была умело использована королем и его сторонниками.

Особое значение приобрели изменения, происходившие в политике царского правительства. Между Россией и Швецией отсутствовало какое-либо соглашение, регулировавшее их взаимоотношения в условиях войны с Речью Посполитой. Медлительность, проявленная в данном случае Карлом X, политиком, немедля реагировавшим на все изменения в обстановке, старавшимся всегда убрать препятствия на пути осуществления своих внешнеполитических планов, объяснялась двумя обстоятельствами. Основываясь на ошибочной информации из Прибалтики, король примерно до марта — начала апреля 1655 г. исходил из возможности действий там главных русских армий (что не соответствовало действительности) и потому не исключал вероятность столкновения с ними шведских войск. Сверх того, он с излишним оптимизмом надеялся на соглашение антирусской направленности с Речью Посполитой, которое на намечаемых им тяжелых условиях не могло заключить ее правительство даже в самой скверной обстановке. Лишь в мае—июле 1655 г. Карл X направил посольство в Москву во главе с бароном Г. Бьелке с предложениями союза и разграничения взаимных интересов в Речи Посполитой, но и оно задержалось в Риге, выжидая, в соответствии с инструкцией, развития событий в Республике³.

Это был, полагаем, один из переломных моментов в истории первой Северной войны. Разумеется, мы ступаем на зыбкую почву, рассуждая о том, что могло бы произойти. Но несомненно одно: при более раннем приезде шведской миссии и вполне вероятной тогда договоренности с московским двором реальностью становился блок России, Швеции, Украины, Бранденбурга и трех Дунайских княжеств. В таком политическом и военном варианте послепотопное возрождение Речи Посполитой сильно затруднялось. Когда же шведские послы в конце декабря 1655 г. прибыли в Москву и получили аудиенцию у вернувшегося из литовского похода Алексея Михайловича, положение кардинально изменилось. Русско-шведские отношения осложнились из-за возникших противоречий по территориальному разграничению в Великом княжестве Литовском и контактов Карла X с Украиной, которые московские политики не без некоторых оснований рассматривали как нацеленные и против их интересов. Поэтому вопрос о русско-шведском союзе был снят с повестки дня, переговоры на эту тему даже не начались.

³ Царские дипломаты узнали о причине задержки.

В ходе бесед в конце декабря 1655 г.— начале января 1656 г. в Москве императорского посольства (возглавляемого Аллегретто ди Аллетретти и бароном И. Т. фон Лорбахом), которое привезло предложение о посредничестве Фердинанда III в достижении мира между Речью Посполитой и Россией⁴, с полномочной делегацией представителей царя российская сторона одобрила проект, были определены практические вопросы организации и функционирования трехсторонней комиссии.

Универсал Тышовецкой конфедерации (31 декабря 1655 г.) и возвращение Яна Казимира в страну в начале января 1656 г. стали сигналом для всеобщего антишведского восстания в Речи Посполитой. Король занялся активной подготовкой войск, а также развернул оживленную дипломатическую деятельность. В последней заметное место заняли усилия по урегулированию противоречий с Украиной и Россией. В частности, в Москву отправился королевский посланец маршалок оршанский П. Галимский (Галинский) с сообщением о скором приезде «великого посольства» и с целями подготовить уже вполне официально почву для дальнейших переговоров, агитировать за антишведский союз, а также постараться выяснить намечаемые царскими дипломатами условия будущего соглашения⁵. К тому времени определилось кардинальное изменение внешнеполитического курса московского двора, предусматривавшего теперь не только умиротворение с Речью Посполитой, но и скорое военное выступление против Швеции. Поэтому беседы с П. Галимским прошли достаточно успешно: были оговорены прекращение боевых действий, отказ от сепаратных договоренностей со шведами и практические вопросы, связанные с работой трехсторонней комиссии⁶.

Издаваемый документ относится как раз к этому времени и связан со всем комплексом польско-русско-украинских отношений в первые месяцы 1656 г. Не известно, когда украинский гетман направил посольство во главе с Д. Якименко в русскую столицу, не знаем мы и даты грамоты Б. Хмельницкого царю, но 7 апреля 1656 г. посольство проехало Севск [1, ф. 79, оп. 1, книги, № 86, л. 35—35 об.; 3, с. 1192]. Не выявлено пока и каких-либо записей о пребывании украинской миссии в Москве, кроме сухих данных, содержащихся в самом документе. В нем упомянуто 23 апреля 1656 г., но остается не ясным, можно ли считать это датой приезда в столицу или это день приема посольства царем (последнее вполне вероятно, в аналогичном месте грамот о П. Галимском стоит то же число, а принят он был 22 апреля). Переговоры с этими двумя посольствами оказались тесно сопряжены. Королевский посланец предложил возможно скорее направить к его монарху царского гонца с сообщением о достигнутых в Москве договоренностях, на что российские дипломаты согласились: стряпчий рейтарский поручик Ф. Т. Зыков повез две грамоты Яну Казимиру и Сенату от 3 мая; тем же днем датирована публикуемая грамота Б. Хмельницкому. Ф. Т. Зыков двинулся в путь 4 мая, имея, в частности, задание завезти украинскому гетману особую грамоту Алексея Михайловича, что и было выполнено⁷. В статейном списке Ф. Т. Зыкова [1, ф. 79, оп. 1,

⁴ Было использовано более раннее обращение Яна Казимира к императору с такой просьбой, подтвержденное во время пребывания короля в Силезии.

⁵ Грамоты Яна Казимира и Сената соответственно царю и Боярской думе от 10 января 1656 г., Кросно (переведены в Посольском приказе 22 апреля). П. Галимский выехал в феврале, в конце месяца был в Бресте Литовском, сообщение о нем привез в Смоленск гонец К. Ловский 22 марта [1, ф. 79, оп. 1, книги, № 86, л. 1—7 об., 37 об.—44]. Галимский прибыл в столицу около 11 апреля 1656 г.

⁶ Переговоры с Галимским провели на Казенном дворе окольных Б. М. Хитрово и думный дьяк А. И. Иванов во второй половине апреля — начале мая. Ответные грамоты королю и Сенату от 3 мая повез Ф. Т. Зыков, очевидно, в тот же день Галимскому была вручена грамота королю. Галимский 6 мая еще находился в Москве, вернулся в лагерь Яна Казимира под Варшавой 25 июня [1, ф. 79, оп. 1, книги, № 86, л. 8—151 об.; дела, 1656 г., № 12, л. 1—142 об.; № 13, л. 21; № 20, л. 1—11].

⁷ Зыков прибыл в Чигирин 19 мая, был принят гетманом на следующий день и вручил ему грамоту (очевидно, о проезде к Яну Казимиру), отправился в дальнейший путь вместе с полковником Ф. Горкушей 23 мая. В связи с этим Б. Хмельницкий писал тогда польскому королю [2, с. 495—496] (датировка в публикации не верна, скорее всего письмо подготовлено около 22—23 мая 1656 г.).

дела, 1656 г., № 13, л. 1—44; 4] нет никаких упоминаний, что вместе с ним российскую столицу покинуло и украинское посольство во главе с Д. Якименко, хотя это представляется вполне естественным. Так или иначе, судя по десятой статье приложения к царской грамоте, отправленной с гетманским посланцем, это случилось вскоре после 3 мая, поэтому Д. Якименко должен был возвратиться к гетману едва ли позже двадцатых чисел мая 1656 г.

В данной связи представляется весьма интересным, что реакция Б. Хмельницкого на приезд к нему Ф. Т. Зыкова и возвращение Д. Якименко, окончательно подтвердивших доходившие ранее сведения о крупном изменении внешнеполитического курса царского правительства, последовала далеко не сразу; только во второй половине июня 1656 г. было подготовлено новое посольство в Москву [2, с. 496—499]. Очевидно, в течение этого времени гетманская администрация и старшина вырабатывали новую линию поведения в кардинально переменявшейся обстановке. Не секрет, что Б. Хмельницкий с самого начала отрицательно отнесся к повороту внешней политики России в сторону соглашения с Речью Посполитой, аргументируя свой подход невозможностью для русско-украинской стороны достичь желаемых условий урегулирования при новом раскладе сил. Он очень энергично старался убедить московский двор в правильности такой позиции (см., например, [2, с. 496—503, 510—512, 518—524, 536—537, 542, 548—550, 552—554, 565—571, 579—583, 597—598, 606—614, 616—618]), но без особого успеха. Это привело к ухудшению взаимоотношений между Россией и Украиной, вплоть до того, что вспомогательные казацкие силы действовали совместно с армией вторгшегося в Речь Посполитую трансильванского князя Дьёрдя Ракоци II, союзника шведского короля, в то время, когда в Прибалтике шла русско-шведская война.

И в этом не было ничего удивительного. В отличие от долгое время господствовавшего в советской, в том числе украинской, историографии несколько «юбилейного» подхода к изображению русско-украинских отношений времени Б. Хмельницкого реальность была гораздо менее идиллической. Интересы сторон далеко не всегда и не во всем совпадали, и согласование их нередко достигалось только компромиссным путем. Кризис 1656—1657 гг. оказался как раз одним из серьезных испытаний совместного политического курса. И дело было не в чьих-то личных позициях или ошибках, а в реальных противоречиях: для Б. Хмельницкого украинские проблемы, естественно, являлись важнейшими, российской дипломатии приходилось учитывать более широкий круг требований внешней политики.

Практически с того времени и по сию пору продолжают споры (сначала политических деятелей, а затем историков) о целесообразности или ошибочности предпринятого московским двором в 1656 г. изменения прежней линии в международных делах. Не касаясь сейчас этой специальной темы⁸, хотелось бы, однако, выразить несогласие с получившей в последние годы в украинской историографии, да и шире, в общественной жизни, трактовкой ее в рамках так называемой измены царя Алексея (данная терминология идет еще от манифеста гетмана И. Выговского по случаю заключения Гадячского договора от 16 сентября 1658 г. между Украиной и Речью Посполитой — документа весьма тенденциозного, скорее пропагандистского). Подобный подход был продемонстрирован на I конгрессе Международной ассоциации украинистов (Киев, сентябрь 1990 г.), автору этих строк также приходилось сталкиваться с ним на украинских научных конференциях или, еще чаще, «вокруг» них. Он объясняется либо недостаточным знакомством с фактической стороной дела, либо ее искажением. Но ученым не следует способствовать возникновению вместо прежней системы

⁸ Из недавних работ по всему комплексу связанных с нею проблем см., в частности [5]. Вопрос нуждается в более детальном изучении.

мифов новых исторических предрассудков, используемых ныне в не всегда благовидных общественно-политических целях. Субъективным трактовкам целесообразнее и убедительнее всего противопоставить правду документов. В публикуемом источнике — наиболее раннем из серии других — линия российской внешней политики относительно Украины зафиксирована вполне четко, таковой с определенными модификациями она оставалась и позже, во всяком случае до начала осложнений на Украине после смерти Б. Хмельницкого (см., в частности, [6]).

Разумеется, этим не исчерпывается ценность издаваемого материала. Весьма интересна выдвинутая украинским гетманом проблема будущей принадлежности ряда епископий на Украине и в Белоруссии, в том числе перешедших в унию. Кроме чисто церковного аспекта, постановка Б. Хмельницким данного вопроса была связана и с темой желаемых им в будущем территориальных пределов Украины. Показательна реалистическая оценка политики шведского короля и др.

Впрочем, пора дать слово самому документу [1, ф. 96, оп. 1, дела, 1656 г., № 5, л. 42—54]. Он издается в соответствии с общепринятыми правилами публикации источников XVI—XVIII вв. (необходимые оговорки приводятся в сносках).

1656 г. апреля 23 (мая 3). Царская грамота — гетману
Б. Хмельницкому и войску Запорожскому (без начала)

л. 42 нашего царского величества войска Запорожского гетману Богдану Хмельницкому и всему войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое слово.

Апреля в 13 ден писал к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, ты, гетман, и все войско Запорожское о присылке к вам полских посланников Хриштопа Тишкеевича и крымского хана о посилку против шведов, также и о замыслах и недодержанье правды короля швейского, и о оных делех. Да и посланцы ваши Деметей Якимов с товарищи, нам, великому государю, о тех же делех о указе били ж целом и подали статьи.

И мы, великий государь, наше царское величество⁹, листу вашего и посланников ваших статей выслушали. И тебя, гетмана, и все войско Запорожское за вашу службу, что нам, в-му г-рю, о всяких делех ведомость чините, жалуюм, милостиво похваляем. А посланцам вашим на те дела, что у вас в листу писано, и они, посланцы, подали [л. 43] в статьях, велели наш, ц-го в-ва, указ учинить и подписат в сей же нашей, ц-го в-ва, грамоте под теми статьями.

И тебе б, гетману Богдану Хмельницкому, и всему войску Запорожскому по своему обещанью¹⁰ и впрядь нам, в-му г-рю, служить, и всякого добра хотеть, и о всяких ведомостях писат почасту. А у нас, в-го г-ря, служба ваша забвенна не будет.

Писан в государствия нашего дворе в царствующем граде Москве лета от создания миру 7164-го месяца апреля 23-го дня.

Статьи, о которых писали в-му г-рю, царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Великия, и Малыя, и Белья Росии самодержцу, его ц-го в-ва войска Запорожского гетман Богдан Хмельницкой и все войско Запорожское, и посланцы их подали на писме. И что на которую статью ц-го в-ва указ, и то подписано под теми ж статьями.

1.

Полский корол Ян Казимер присылал к ним Хриштопа Тишкеевича с товарищи о покое и просити о помочи войска Запорожского на посилку против шведов. И гетман Богдан Хмельницкой [л. 44] и войско Запорожское, памятуючи то, что они их воевали многжды и разорить хотели, без указу ц-го в-ва ничего не хотячи делат, тем послом не веря, ни с чем отпустили назад, и помочи не обещали, и тот съезд до Георгиева дни¹¹ отложили¹².

И на тое статью царского величества указ.

Присылал к в-му г-рю, к его ц-му в-ву, брат его, государев, великий государь цесарь Римский¹³, просячи у ц-го в-ва, чтоб его ц-е в-во с полским королем учинил мир, а он у того миру хочет быть посредником. А ныне и корол полский Ян Казимер к ц-му в-ву о прошенье того миру посланника своего Петра Галинского присылал же, и чтоб о том миру с обеих сторон учинить съезд великим послом.

⁹ В дальнейшем в ряде случаев публикатором применяются сокращения (в-кий г-рь, ц-е в-во) со всеми изменениями в падежах.

¹⁰ Имеются в виду прежде всего российско-украинские договоренности начала 1654 г.

¹¹ Т. е. до дня св. великомученика Георгия Победоносца, 23 апреля (3 мая).

¹² О польско- и крымско-украинских переговорах в январе — мае 1656 г., в том числе с участием воеводы черниговского К. Тышкевича, см. [2, с. 469—473, 475—476; 3, с. 1163—1164, 1171—1172, 1174—1176, 1191—1195, 1199—1200, 1204, 1206, 1209, 1219—1220].

¹³ Фердинанд III Габсбург, император Священной Римской империи германской нации (1637—1657).

И в-кий г-рь, его ц-е в-во, по прошенью брата своего, великого государя, царского величества, также и по королевскому прошенью для покою христианского на мир изволяет и великих послов о том миру послати на съезд хочет¹⁴.

[л. 45] А их, своего ц-го в-ва подданных гетмана Богдана Хмельницкого и все войско Запорожское, на том посольском съезде от полского короля и от всей Речи Посполитой под своею, ц-го в-ва, высокою рукою в подданстве вечно успокоит.

А будет полской король по воле царского величества помирница не похочет, и у ц-го в-ва ратные люди готовы.

2.

Посол от хана крымского¹⁵ перекопской Пириш ага приходил к ним, подтверждаючи любов, чтоб вечно и неподвижно было. И казаков запорожских многих, в неволи будущих, с собою от хана вывез¹⁶. И чтоб ц-е в-во донским казаком велел заказ учинить, чтоб крымским татаром водою и полем никакие зацепки не чинили.

И на ту статью царского величества указ.

По указу ц-го в-ва на Дон х казаком послано его, государское, повеленье, и не одинова, на море ходить и с крымскими людьми никаких задоров чинить им не велено¹⁷. И в нынешнем во 164-м году в феврале месяце писали к в-му г-рю, к его ц-му в-ву [л. 46] з Дону атаманы и казаки, что они по указу его ц-го в-ва на море не ходят и с крымскими и азовскими людьми задоров отнюд никаких не чинят. А крымские, и азовские, и ногайские люди под их, казачьи, юрты безпрестанно приходят войною, и людей побивают, и животину отгоняют. А в генваре да в феврале месяцев побили крымцы и азовцы донских казаков болши 30 человек, и за город выгты им для промыслов их не дадут¹⁸.

И гетман бы Богдан Хмельницкой отписал в Крым и в Азов, чтоб крымские татаровя и азовцы з донскими казаки были¹⁹ в совете, а обид им никаких не чинили и не задиралис. И буде крымцы и азовцы от задоров не уймутца, и донские казаки терпети им не хотят, а боронить себя учнут. А буде от крымских людей и от азовцов задору им не будет, и они на них ходить морем и сухим путем не учнут.

3.

Посол короля швейского²⁰ пришол к нему, гетману. И они узнали, что прислан с некакими оманками, а не с правдою²¹. А после его приезде ведомо учинило, что король швейской уж и Львов, а в нем и полского короля осадил, и до Каменца Подольского войска свои послати хочет²².

[л. 47] И как король швейской Львов возмет и к ним придет х Каменцу, и им не безстрашно будет, что при нем хоружий корунный и иные шляхтичи, которые у них на Украине маятности свои имеют. И чают, что и с ними без зацепки не будет, потому что уж и к гетману и о маятности своих писали, чтоб их могли обнять²³. И гетман на то не позволил.

И на ту статью царского величества указ.

Чтоб гетман Богдан Хмельницкой те листы, каковы к нему, гетману, присылал швейской корол, прислал к ц-му в-ву. И о чем те швейские послы говорили, и о том бы к ц-му в-ву в листу своем отписал подлинно. И какие причины к нарушению вечного докончанья²⁴ от швейского короля объявлятца, и ц-е в-во тем неправдам терпеть не учнет, а за нарушенье вечного докончанья стоять будет.

¹⁴Об этих переговорах см. вводную статью.

¹⁵Мехмед IV Гирей (1641—1644, 1654—1666).

¹⁶См. также [2, с. 487—488; 3, с. 1176—1178].

¹⁷Например, в царских грамотах от 23 января, 25 февраля 1656 г. (см. [7, стб. 80—82, 101—105]).

¹⁸Судя по содержанию, имеется в виду отписка Войска Донского от 24 февраля (5 марта) 1656 г., полученная в Москве 26 марта (см. [7, стб. 13—16, 129—135]).

¹⁹Слово повторено дважды.

²⁰Зачеркнуто: полского. Карл X Густав (1654—1660), из Цвайбрюккенской линии.

²¹Скорее всего, имеется в виду посольство игумена Даниила, которое отбыло из Чигирина около 26 марта 1656 г. (см. [1, ф. 96, оп. 1, дела 1656 г., № 2, л. 1—4, 12—14; 2, с. 476—477; 3, с. 1178, 1181—1182]). Украинско-шведские противоречия объяснялись тем, что Б. Хмельницкий считал нарушением предварительных договоренностей действия войск Карла X за линией Вислы и особенно на Западной Украине [2, с. 475—476; 3, с. 1194—1195].

²²Речь идет о южном походе Карла X (конец января — середина апреля 1656 г.), целью которого вначале был марш ко Львову. Но уже в конце февраля король отказался от этого плана из-за неблагоприятного соотношения сил. Ко времени отправки: Д. Якименко верная информация еще не поступила в Чигирин.

²³Речь идет о А. Конецпольском, который руководил частью коронных войск, перешедших на шведскую службу 16—26 октября 1655 г., но 11 — 24 февраля 1656 г. отказавших в верности королю. Сходные сведения, с отсылкой на новости из Чигирина, содержались в одном письме из Миргорода от 25 марта 1656 г. [1, ф. 214, столбцы, № 1467, л. 112; 3, с. 1165—1166], следовательно, можно считать это примерным датирующим признаком отъезда Д. Якименко.

²⁴Имеется в виду русско-шведский Столбовский договор 1617 г.

А буде к ним, войску Запорожскому, от свейских людей какие задоры быти учнут, и они б о том к ц-му в-ву писали наскоро, а сами боронилис и промысл чинили. А ц-е в-во з другой стороны из своего, государева, полку ратных своих людей на них пошлет же. А сам в-ий г-рь, его ц-е в-во на неприятеля своего пойдет [л. 48] в мае месяце со многими ратми.

4.

Шляхта руская и иные веры под высокую руку его царского величества к ним на Украину приходить хотят.

И на ту статью царского величества указ.

Буде которые урядники и шляхта ц-го в-ва милости поищут, на его, государское, имя приходить учнут, и их принимать и приводить к вере, чтоб от них никаких измен не было.

А буде учнут бити челом о маятностях, и их о том присылать бити челом к ц-му в-ву.

А сколько шляхты на имя ц-го в-ва придет и хто имяны, и о том писат к ц-му в-ву подлинно.

5.

О короле венгерском и о воеводах волоском и мутьянском²⁵ никакие ведомости нет, при ком они стоять будут. И они послали посланников своих к ним для ведомости. И кой час им ведомо будет, тотчас его ц-му в-ву известят.

И царское величество указал.

Как гетману Богдану Хмельницкому про венгерского, и про мутьянского, и волоского подлинной ведомо будет, и он бы о том [л. 49] к его ц-му в-ву отписал не замочив.

6.

Некоторые своеволники казаки и иные люди, добывая на войнах, а не хотячи на службе ц-го в-ва быть, на слободы убегают, и других с собой отводят, и вместо доброго горшную свою воловсчинают, как путивльцы и иные на них жалуютца, что пасаки пустошат и великие обиды чинят. И чтоб ц-е в-во велел тех своеволников отуду выгоняти, а старших и наговорцов им выдавати.

[л. 50] И о тех своеволниках, хто они и где какое зло починили, ц-му в-ву еще не ведомо. И от путивльцов к ц-му в-ву челобитья не бывало.

7.

Как царское величество сперва взял их под свою, государскую, высокую руку, и им, войску Запорожскому, шляхте, духовным и всякого чину людем на волности права пожаловал²⁶. А ныне, де, жалобы доходят, что воевода могилевской, чаю, что мимо ведома его ц-го в-ва, великие казаком обиды чинит и из добр их выгоняет.

И о том царского величества указ.

Великий государь, его ц-е в-во как гетману и войску Запорожскому сперва на волности права пожаловал, так и ныне ни в чем своего, ц-го в-ва, жалованья, не нарушает [л. 51], но держит их в волностях попрежнему. И обид им нигде никому чинить отнюдь не велено.

А к ц-му в-ву пишут его царского величества бояре и воеводы из Смоленска и из иных городов, что по присылке ис Чаус полковника Ивана Нечая²⁷ приходят его полку казаки ц-го в-ва в города и в уезды, и людей грабят и побивают, и проезжие станицы перенимают, и всякие злости чинят. А которые самоволники ездят малыми людьми для добычи под Быхов Старой и под Slutck, и там их где побьют, и они вмещают, будто тем гибел учинилась от ц-го в-ва людей. И о том о всем по указу ц-го в-ва гетману объявлял подлинно его ц-го в-ва думной дьяк Ларион Дмитриевич Лопухин²⁸.

И гетман бы Богдан Хмельницкой велел тех самоволников ис тех мест [л. 52] свесть в черкасские города. А за воровство их велел им учинить по войсковому праву²⁹. А что буде от коих воевод черкасом какие обиды починилис, и ц-е в-во указал про то сыскать, и по сыску указ учинен тем воеводам будет.

²⁵ Соответственно Дьёрдь Ракоци II, князь Трансильвании (1648—1660), Георгий Штефан, господарь Молдавского (1654—1658) и Константин Шербан, господарь Валашского (1654—1658) княжеств.

²⁶Наделение разног рода правами войска Запорожского в целом, гетмана, старшины, отдельных групп жителей Украины и т. д. происходило в основном в течение 1654 г. после Переяславской рады.

²⁷Полковник Белорусский с 8 февраля 1656 г. [2, с. 470—471].

²⁸Посольство от царя к Б. Хмельницкому во главе с Л. Д. Лопухиным (17 февраля — 15 апреля 1656 г.), одной из целей которого была ликвидация конфликтов в связи с укоренением казаков в Белоруссии [3, с. 1167, 1200—1217].

²⁹Проблема пребывания казаков в Белоруссии, с учетом неоднозначного отношения к этому местной шляхты и горожан, принадлежала к одной из наиболее сложных в русско-украинских отношениях [8].

О обиде Ивана Березетцкого, которую имеет от Мирона Золотарева и брата его Луки, а живут они у Белгорода, чтоб царское величество велел про то сыскать.

Про то же обиду ц-е в-во велел сыскать и по сыску его ц-го в-ва указ будет.

О епископах православных, которые великие мучения имели от ляхов, а имянно [л. 53] епископ Львовский, Прямынский³⁰, Холмский, Лутцкий, Володимирский, чтоб на них признание иметь, что они под послушанием митрополита Киевского были православного, а в унии не были. Також и белорусские епископы Могилевский, Витебский, Полоцкий, Мстиславский те все благочестия употребляли и в послушании митрополитов Киевских бывали³¹.

И как будут на съезде ц-го в-ва и королевские послы и о миру договор учинят, и в то время о тех епископах ц-го в-ва милостивой указ будет.

Чтоб царское величество пожаловал, велел посланников войска Запорожского, не задержав, к гетману и к Войску отпустить.

[л. 54] И ц-е в-во пожаловал, велел тех посланников, пожаловав своим, государевым, жалованьем, отпустить, не задержав.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Центральный государственный архив древних актов.
2. Документи Богдана Хмельницького 1648—1657. Упорядники І. Крип'якевич та І. Бутич. Київ, 1931.
3. *Грушевський М.* Історія України-Руси. Т. IX, 2 половина. Київ, 1931.
4. *Каманин І. М.* Документи епохи Богдана Хмельницького 1656 і 1657 гг., извлеченные из Главного Московского Архива Министерства Иностранных Дел.— В кн.: Сб. статей и материалов по истории Юго-Западной России. Вып. I. Киев, 1911, с. 39—51.
5. *Заборовский Л. В.* Некоторые проблемы внешней политики Швеции XVII в.: цели Швеции в начале первой Северной войны 1655—1660 гг.— В кн.: X Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Ч. 1. М., 1986, с. 101—103; *Заборовский Л. В.* Шведский вопрос в русско-украинских отношениях во время освободительной войны 1648—1654 гг.— В кн.: Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Тези республіканської науково-теоретичної конференції 20—22 квітня 1988 р. Львів, 1988, с. 148—149; *Заборовский Л. В.* Украинский вопрос в шведской внешней политике в середине 50-х гг. XVII в.— В кн.: Международные связи в средневековой Европе. Тезисы докладов областного научно-практического семинара (16—18 октября 1988 г.). Запорожье, 1988, с. 29—30; *Заборовский Л. В., Захарьина Н. С.* Русско-шведская война 1656—1661 гг.: ее причины.— В кн.: XI Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Ч. 1. М., 1989, с. 43—45; *Заборовский Л. В., Захарьина Н. С.* На перепутьи: Швеция и русско-украинские взаимоотношения в начале первой Северной войны.— В кн.: Международные связи в средневековой Европе. Тезисы научных докладов и сообщений Всесоюзного научного семинара (25—27 апреля 1991 г.). Запорожье, 1991, с. 63—65.
6. *Заборовский Л. В.* Проблема унии в русско-литовских и русско-польских переговорах времени Потопа.— В кн.: Славяне и их соседи. Католицизм и православие в средние века. Сборник тезисов. М., 1991, с. 79—84; *Заборовский Л. В., Захарьина Н. С.* Религиозный вопрос в польско-российских переговорах у дер. Немежа в 1656 г. (Предыстория). Документы.— В кн.: Славяне и их соседи. Вып. 3. Католицизм и православие в средние века. М., 1991, с. 158—175.
7. Донские дела 1594—1654 гг. Кн. 5.— В кн.: Русская историческая библиотека. Т. 34. СПб., 1917.
8. *Мальцев А. Н.* Россия и Белоруссия в середине XVII в. М., 1974, с. 218—254.

³⁰Шемьисльський.

³¹Вопрос связан с постоянно зашифрованными дипломатией Б. Хмельницкого тезисом о необходимости восстановления православия и ликвидации унии на всей Украине и в некоторых прилегающих областях, но поставлен здесь в более широком контексте.



ЯНАЧЕК Ф.

ЗАМЕТКИ О «НОВОМ ИЗДАНИИ» «РЕПОРТАЖА С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ» ЮЛИУСА ФУЧИКА

Издание «Репортажа с петлей на шее» Юлиуса Фучика, вышедшее в Москве в 1991 г., не является полным, хотя составители и утверждают обратное. К сожалению, они почему-то спешили, не дождавшись полного чешского издания, и включили в публикуемый ими текст только некоторые прежние издания, опубликованные в еженедельнике «Литерарни новини», не указав при этом источник.

В результате и в этом русском издании «Репортажа» осталось много «белых пятен». Читатель оказывается обманутым, полагая, что перед ним полное научное издание текста. Составители пишут, что в прежних изданиях изъято было всего лишь несколько маловыразительных пассажей. Это не соответствует действительности. Да, действительно, по объему это не так уж много, но значение изъятого очень большое. В новом русском издании «Репортажа» уже говорится о том, что Фучик во время допросов «заговорил». Но при этом не указаны мотивы и характер его поступка, что в результате искажает художественную и научную ценность произведения и личную драму Фучика.

Ненаучные издания «Репортажа» оказывали «медвежью услугу» самому автору и его произведению и бумерангом били по тем, кто это делал. Новое русское издание — также «медвежья услуга» Фучику. При всех добрых намерениях составителей и некоторых их ценных находках они тем не менее защищают фальшивую, нежелательную мифологизацию Ю. Фучика и его произведения. Здесь нет поисков истины, а только лишь прежний политический контекст идеологизации. «Репортаж» Фучика является интереснейшим произведением чешской культуры и ценнейшим документом европейского Сопротивления. Документом единичным, если не единственным. «Репортаж», с одной стороны, нужно защищать, а с другой — сказать, наконец, себе и другим о нем правду, демифологизировать, устранить созданный вокруг него лживый культ.

Но в настоящем русском издании Фучик вновь выступает только как герой, несломленный коммунистический журналист. А потому, мол, его боится контрреволюция и стремится отгеснить на задворки, чтоб освободить место для тех, кто ненавидит социализм, сотрудничал с фашистами и т. д. При этом ничего не говорится о том, что у Фучика было особое, скажем так, облегченное, положение в тюрьме, не объясняется почему. Но в таком

Франтишек Яначек — д-р наук, заместитель директора Музея движения Сопротивления (Прага).

положении был не он один. Не раскрыта фигура следователя Й. Бёма. И, наконец, в послесловии говорится, что в ЧСФР сейчас ситуация для издания «Репортажа» Фучика неблагоприятна. Это не совсем так. Готовится научное, первое, кстати, издание книги.

После 1945 г. Юлиус Фучик стал одной из самых значительных фигур новой чехословацкой истории и литературы, главным образом, благодаря своему произведению, написанному перед лицом смерти. Сравнительно небольшая книга, «Репортаж» стал самым известным произведением чешской литературы. Только на чешском языке он издавался 36 раз, на словацком — 13, на иностранных языках в Чехословакии — 12, а за ее пределами — более трехсот раз.

Но почти одновременно с появлением «Репортажа» начались и вот уже более сорока лет в чехословацкой печати и за рубежом, на страницах крупнейших мировых газет, журналов и многочисленных книг ведутся споры о подлинности этого произведения и обо всем периоде деятельности Юлиуса Фучика в подполье. Вопросы ставились и ставятся весьма категорично. Не фальсификация ли «Репортаж»? Является ли Фучик героем антифашистского движения Сопротивления или он был пособником гестапо, немецких оккупантов?

Сейчас, наконец, пришло время, когда мы можем принять участие в этом споре, располагая как творческой свободой, так и возможностью провести самые широкие научные исследования, поскольку располагаем достаточной документацией. Мы наконец-то получили доступ к источникам и архивам, прежде исключенным из процесса исследований. В нашем распоряжении оригинал рукописи «Репортажа», протоколы допросов в гестапо и допросов сотрудников гестапо послевоенного времени.

Уже вокруг первого издания «Репортажа» в 1945 г. были разговоры, по крайней мере шепотом, об изменениях, внесенных в рукопись. Жена Фучика Густа и небольшой круг людей около нее не позволяли заглянуть в эти, тайком вынесенные из тюрьмы листы. Однако подготовка книги к изданию всегда требует такого глубокого ее осмысления, что любой, так или иначе с ней соприкасающийся, может немало понять и догадаться о многом из того, что в связи с этим происходит. Впрочем, послевоенный опыт, сопоставления и аналогии с другими подобными примерами порождали представления, на самом деле лишённые основания. Начался период слухов, которые росли на фоне усиливающейся мифизации личности Фучика, как отражение недовольства ролью КПЧ в государстве и сопротивления ее политическому и идеологическому влиянию. Иногда дело ограничивалось сомнениями, в других случаях говорили о подложности рукописи, как и всей истории с Фучиком.

Сейчас этой проблемой, по значению выходящей за национальные рамки, занимается группа историков, филологов и других специалистов. Военный институт истории и его Музей движения Сопротивления подготовили, с соответствующими комментариями, новое издание «Репортажа». Одновременно изучаются все материалы, связанные с деятельностью Фучика в подполье, его пребыванием в гестапо и тюрьме, а также судьбой многих участников чехословацкого Сопротивления. Надо вообще разобраться с фальсификацией истории периода оккупации и деятельности подполья, которая нанесла огромный ущерб.

В споре о Фучике и его «Репортаже» несколько аспектов и взаимосвязей. Поэтому необходимо изучение многих дополнительных источников, поиск свидетелей и документов, пока еще неизвестных. Но уже сейчас намечаются некоторые выводы, не вызывающие никаких сомнений.

Графологический анализ и другие методы тщательного изучения рукописи подтвердили, что все 167 листов «Репортажа с петлей на шее» действительно написаны рукой Юлиуса Фучика. Не правы были те, кто утверждал, что

это фальсификация. Было также установлено, что рукопись в ее первоначальном виде не правил никто, кроме самого автора. Те же, кто выпустил отдельные строчки и даже целые страницы в «Репортаже» в первом и последующих изданиях, взяли на себя огромную ответственность за «облагораживание» личности Фучика и грубые искажения в его произведении. Это дело рук конкретных лиц, и не может быть и речи о некоей «коллективной политической вине», об этом, несомненно, были информированы некоторые высшие функционеры Коммунистической партии.

С оригиналом, по всей вероятности, первым машинописным текстом «Репортажа», мы смогли ознакомиться совсем недавно. Правка в нем сделана зеленым карандашом. Ее автора мы пока называть не станем — не все еще здесь до конца проверено, — но смысл ее совершенно ясен. Она целиком и полностью соответствовала духу и идеологическим установкам того времени. Уже при первом издании книги в 1945 г. рукопись была недопустимо искажена.

Так, первые издатели последнего фучиковского репортажа, по-видимому, по договоренности с «политическими инстанциями», помимо прочих пропусков и исправлений, изъяли из листа под номером 164 (номера проставлял сам автор) девятнадцать строк. Полностью выпущены два следующих листа, а из заключительного, под номером 167, вычеркнуто десять строк. Это была поистине «медвежья услуга» Юлиусу Фучику и его соратникам по борьбе, да и «Репортажу».

Грубейшие, непростительные изъяты из текста служили одной цели — убрать все человеческое из произведения, превратить автора «Репортажа» в безупречного героя Спротивления, в нечто производное или настоящий продукт господствовавшего тогда в коммунистической идеологии, теории и практике культа личности. Такой мифический герой должен был стать опорой нового политического режима в нашей стране, который с самого начала нес на себе печать сталинистской дегенерации.

Характерно, что из рукописи «Репортажа» было выпущено признание Фучика о том, что примерно через семь недель молчаливого сопротивления он решил заговорить, начав со следователями пражского гестапо сложную и опасную игру. Сам Фучик пишет: «Было необходимо начать большую игру. Речь шла не обо мне — в таком случае проигрыш последовал бы незамедлительно, а о других. От меня ждали сенсации. Я дам им ее. Они многого ожидали от того момента, когда я заговорю. И я „заговорил“...Как? (подчеркнуто Фучиком.— Ф. Я.). Это вы найдете в моем протоколе». При этом автор «Репортажа» явно хотел, чтобы будущие читатели и историки имели возможность его показания, протоколы допросов проанализировать и оценить. Однако такая возможность у нас была отнята практически на протяжении жизни двух поколений.

Да, явно Фучик вел свою «игру» в интересах других членов подполья, особенно представителей интеллигенции, о которых он узнал во дворце Печка, где находилось гестапо. И только на втором месте была его собственная надежда пережить оккупацию и войну. Сейчас мы располагаем его тогдашними показаниями, а также показаниями многих других, кто присутствует в «Репортаже», прежде всего Ярослава Клецана. Они подтверждают, что Клецан, участник гражданской войны в Испании и антифашистского подполья, рассказал в гестапо почти все, что знал и что в интересах Спротивления должно было быть сохранено в тайне.

Этими протоколами не располагали те, кто сразу же в 1945 г. решили издать «Репортаж с петлей на шее». Внося в него правку, они, по всей вероятности, считали, что будет полезнее для рождающейся «народной демократии» создать образ героя, которого гестаповцам не удалось заставить заговорить, который предпочел умереть, чем сказать своим тюремщикам хоть слово, которое можно было бы занести в протокол. Так родился в

нашей стране и распространился по всему миру новый миф, совершенно искаживший человеческий и художественный смысл произведения Фучика.

Первая возможность внести ясность в «дело Фучика» появилась во время «пражской весны» 1968 г. Именно тогда историки и журналисты предприняли первые шаги. Однако августовская интервенция того же года, подавление попыток осуществить в стране реформы на двадцать лет заблокировали этот шанс.

Проводимые сейчас научные и другие исследования никак не означают, что имя Фучика должно быть навсегда вычеркнуто из истории движения Сопротивления и борьбы за свободу, из истории чешской литературы и культуры. Факты и идеи, содержащиеся в «Репортаже», — не фальсификация, хотя их нельзя считать бесспорными с исторической точки зрения.

Через весь «Репортаж» проходит, определяя его внутреннюю композицию, спор между Фучиком и Клецаном, одним из соратников Фучика по коммунистическому подполью. Было время, когда некоторые историки считали или допускали, что в гестапо давал показания не Клецан, а Фучик. Сейчас нам уже известно, повторяю — точно известно, что Клецан на первых же допросах предал многих, что повлекло за собой аресты. Что касается Фучика, то, как представляется (исследования еще не закончены), по его вине никто арестован не был, что Фучик назвал лишь тех (речь идет о нескольких десятках человек), кто или уже находились в тюрьме, или были казнены, или о ком пражское гестапо уже знало. Некоторые имена в его показаниях искажены, а одно просто выдуманно. Таким образом можно констатировать, что Фучик действительно пытался обмануть своих следователей, и в общем-то не без успеха. Может быть, кому-то показания чем-то повредили, но многим он по-настоящему помог. Анализируя допросы, нельзя не обратить внимание на способность Фучика придумывать такие факты и ситуации, которые кажутся правдоподобными.

Элементы фальсификации, начиная с первого издания «Репортажа», и интерпретация в духе культа деятельности Фучика стали причиной того, что в искаженном свете виделись и многие другие деятели антифашистского движения Сопротивления, односторонне оценивалась роль чехов, работавших в гестапо, и некоторых представителей нацистского аппарата.

Если же говорить конкретно о Фучике, то в его судьбе большую роль сыграл сотрудник нацистской тайной полиции Йозеф Бём, бывший официант, хорошо знавший чешский язык. В 1939 г. он стал сотрудником гестапо и для него «дело Фучика» было первым порученным ему важным заданием. Сейчас в нашем распоряжении протоколы послевоенных допросов Бёма в чехословацких органах безопасности. Для нас Бём, разумеется, интересен не сам по себе, а в связи с Фучиком. Без него вряд ли можно вполне понять и объяснить то, что происходило во дворце Печека.

Было бы ошибочным представлять дело так, что Фучик получил в тюрьме определенные привилегии благодаря своим показаниям. На самом деле это была заслуга Бёма, который еще во время допросов Фучика высказывал сомнения в победе гитлеровской Германии во второй мировой войне. Именно он рекомендовал Фучика как «домашнего рабочего» Мюллеру, управляющему во дворце Печека. В результате Фучик получил возможность передвигаться в определенных помещениях здания без стражи, мог курить — сам Бём неоднократно снабжал его сигаретами. Время от времени Фучик работал при столовой и казино штаб-квартиры гестапо. После завершения следствия «хаусарбайтерами» работали и другие заключенные; в отдельных случаях в тюрьме Панкрац и в тюрьме на Карловой площади это разрешалось даже евреям.

Под предлогом встреч со связными подполья Фучик в сопровождении Бёма и других работников гестапо выезжал несколько раз на конечную

остановку трамваев № 17 и № 21. Никаких встреч, конечно, не происходило. Фучик «приманкой» не был, да и не мог быть. Спустя некоторое время Бём отсылал сопровождающих, после чего они ходили по пивным, кондитерским, просто гуляли по Праге.

Были и другие послабления для Фучика, которыми он тоже был обязан Бёму, — главным образом встречи с женой, сестрами.

Однако, в конце концов, Йозефа Бёма вызвал начальник отдела борьбы с коммунистами пражского гестапо Вилли Лаймер и обвинил его в симпатиях к Фучику.

Несмотря на это, некоторое время прежнее положение сохранялось, вплоть до того момента, когда было решено передать дело Фучика обратно в Прагу для продолжения допросов, но из этого ничего не вышло. Пока никто и ничто не может этого подтвердить. Фучик был приговорен к смерти и через необычно короткое время казнен. Приговор был так быстро приведен в исполнение, по-видимому, потому, что тюрьма Плетцензее подвергалась бомбардировке авиацией союзников, и нацисты решили ускорить казни осужденных.

О смерти Фучика есть свидетельства и документы, которые историку кажутся бесспорными. Мы, однако, упоминаем об этом потому, что не так давно в иностранной печати появились публикации, ставившие под сомнение факт смерти Фучика. У нас в Чехословакии эта информация получила довольно широкое распространение. Мы считаем ее ошибочной или просто плодом чьего-то воображения. Кому бы понадобилось переправлять Юлиуса Фучика в Латинскую Америку, скрывать, что он жив? Его личность не имела такого международного политического значения, которое оправдывало бы такую операцию. Кому от этого могла быть польза? И какая?

Что касается Й. Бёма, то Фучик пишет в «Репортаже», что это была фигура «интересная», что «он был человеком интеллигентным и имел по сравнению с остальными одно преимущество: разбирался в людях» и что, однако, «собственных сильных убеждений у „моего комиссара“ вы бы не нашли». При этом Фучик дает понять, что Бём в определенный момент перестал верить в победу немцев. Это помогает нам разобраться в его поведении после войны. Правдивость послевоенных показаний Бёма в некоторой степени подтверждают и следующие слова из «Репортажа»: «Мы лгали друг другу изо всех сил и непрестанно... Я это знал всегда, он лишь иногда. Когда же лож становилась очевидной, мы вполне согласно игнорировали это. Думаю, ему не столь важно было установить правду, сколько то, чтобы на „его большом деле“ не было ни тени».

Йозеф Бём бежал в Германию еще в конце апреля 1945 г. Примечательно, что 18 декабря 1945 г. он добровольно вернулся из англо-американской зоны оккупации и сдался чехословацкой полиции, заявив при этом, что «работал в гестапо в Праге». Понять поведение Бёма непросто, хотя сохранилось много его показаний периода 1945—1947 гг. Наверное, он предполагал, что ему каким-то образом удастся избежать наихудшего, что помогут бывшие «заслуги» и его простят. Или, может быть, боялся жить в тогдашней Германии и хотел остаться в Чехословакии, где, кстати, жила его жена. Расчеты его не оправдались. После многих допросов и суда Бём был казнен в апреле 1947 г. (Обращаем здесь внимание читателей еще на одну фальшивую версию: Бёма-де уничтожили сразу же по окончании войны, чтобы он не мог рассказать всего, что знал.)

Из материалов его допросов, из архивных документов и других источников следует, что у него было своеобразное отношение к Фучику и что, ведя его дело, он о многом перед своим начальством умолчал. По существу, он был соучастником Фучика в затеянной тем игре. Разумеется, мы не перестаем задаваться вопросом: а не был ли Фучик его конфиденнтом, или не испол-

зовали ли его, как «приманку»? Расследования в этой области еще не закончены, однако пока никакого подтверждения этому не нашлось.

Повторяю, предстоит еще проделать большую работу, собрать и сравнить иные источники и свидетельства, чтобы представить себе повседневную жизнь заключенных пражского гестапо во дворце Печека и в тюрьме Панкрац. Только потом мы сможем опубликовать все самое существенное максимально документированно, в интересах правды, науки и исторической достоверности. Ведь как мы уже указывали, идеологическая фальсификация судьбы Фучика и истории «Репортажа» повлияла на интерпретацию оккупационного режима, оценку деятельности некоторых его представителей. Это не означает ни в коей мере намерения реабилитировать этот режим в Чехии в период 1939—1945 гг. Однако черно-белое видение происходившего не позволяет понять многих сложных моментов в движении Сопротивления, борьбе его представителей за национальное освобождение, за восстановление республики.

Говоря словами мудрого раввина, многое выглядело иначе, но не все наоборот. Фучик является крупной фигурой чехословацкого движения Сопротивления и антинацистского подполья. «Репортаж» есть бесспорно важное единичное литературное произведение движения Сопротивления. В Голландии вновь издан с научным комментарием «Дневник Анны Франк». В наших современных условиях, по экономическим соображениям мы можем себе позволить, без излишней пышности, хотя бы полное научное издание «Репортажа». Тем самым мы исполним свой долг не только в отношении нашей общественности и культуры, но и общественности мировой.

ИЗ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКО-ВОСТОЧНОБАЛТИЙСКИХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ

Для двух важнейших трудов по праславянской лексикографии [1] — «Этимологического словаря славянских языков» (ЭССЯ [2]) и «Праславянского словаря» (SP [3]) в полной мере сохраняет свою значимость тезис об этимологическом словаре как словаре-справочнике [4], содержащем всю необходимую информацию о генетических связях слова, его этимоне, истории развития формы и значения и т. п. Ни в коей мере не подвергая сомнению высокую степень соответствия ЭССЯ и SP упомянутым требованиям, кажется целесообразным остановиться на балтийском компоненте предлагаемой в ЭССЯ (существенно опережающем SP по темпам издания) этимологической информации.

Необходимость и возможность некоторой оптимизации этого компонента во многом подсказывается — но и облегчается — рядом вышедших в последнее время публикаций по балто-славянской тематике и, в особенности, трудом В. Н. Топорова «Прусский язык. Словарь» (ПЯ [5]). Характерное для ЭССЯ представление об автономности праславянского лексического состава по отношению к балтийскому, с одной стороны, и, с другой — развиваемая в ПЯ концепция производности первого от второго, служат основанием для расхождения между ЭССЯ и ПЯ в интерпретации весьма широкого круга славянских слов. В большом числе случаев, однако, ситуацию можно оценить так, что ПЯ конкретизирует и насыщает материалом балто-славянского лексического сравнение в ЭССЯ и SP. Таким образом, когда при анализе славянской лексики оказываются релевантными те или иные западнобалтийские данные, обращение к ПЯ позволяет составить более детальную картину их взаимоотношений с соответствующим славянским материалом. Ср., например, в ЭССЯ [2, вып. 6, с. 221] сопоставление слав. **golva* 'голова' с прусским *gallū, galwo* (без указания значения) и предлагаемый в ПЯ анализ отношений прус. *galv-* 'голова' и слав. **golva* 'то же', включающий наблюдение о соответствии прус. *galwo* 'носок (передняя часть ноги и обуви)': рус. диал. (помор.) *головы* 'носки', *голова* 'головки сапог' и т. п. [5, т. II, с. 148]. Особо следует выделить ряд случаев, когда достаточно надежные и, в общем, хорошо известные западнобалтийские параллели славянской лексики оказываются в ЭССЯ (а иногда и в SP) не упомянутыми, как, например, прус. *kerpetis* 'череп' [5, т. III, с. 332—336] при слав. **čerpъ* 'череп, черепок, скорлупа' ([2, вып. 4, с. 72—73], но ср. в SP [3, т. II, s. 159—160], где прусское слово указывается), прус. *endyrītwei*

'взирать, смотреть' [5, т. II, с. 40] при слав. **diriti* 'искать, следить' [2, вып. 5, с. 31; 3, т. III, с. 212], прус. *iagno* 'печень' [5, т. III, с. 11—14] при слав. **jbkno* 'икра (рыбья)' [2, вып. 8, с. 216], прус. *ussrou* 'икра (часть ноги)' [5, т. III, с. 36—37] при слав. **jbkra*/**jbkro* 'икра (рыбья, ноги)' и др. [2, вып. 8, с. 218—220], прус. *inxcze* 'почка' [5, т. III, с. 59—60] при слав. **jbsto* 'почка, утроба' [2, вып. 8, с. 242—243], прус. *queke* 'остров' [5, т. IV, с. 380—382] при слав. **kvaka* 'крюк, зацепка', **kvakъ* 'то же' [2, вып. 13, с. 147—148].

Дополнения к западнобалтийским данным в ЭССЯ во многом свелись бы к суммированию каких-то сведений из ПЯ (и ряда других работ). Подобная тема, несомненно, тоже представляла бы интерес, однако более полезным представляется обращение к восточнобалтийскому материалу.

Данная статья, являющаяся частью более обширной работы, примыкает к ряду публикаций, специально посвященных разного рода *addenda* к праславянским реконструкциям в ЭССЯ (см. особенно [6]). Решающим стимулом для этой работы послужили весьма многочисленные исследования последних лет по балто-славянскому лексическому сравнению (в том числе в связи с ЭССЯ), принадлежащие В. Н. Топорову, А. П. Непокупному, Р. Эккерту, И. Дуриданову, С. Каралюнасу, Ю. В. Откупщикову и другим. Предлагаемые ниже восточнославянско-восточнобалтийские (главным образом, белорусско-литовские) лексические параллели представляют собой примеры известных нам потенциальных дополнений к теме «Baltico-slavica» в ЭССЯ (см. еще [7]). В завершающем статью разделе о блр. диал. *мяк* 'налим' оказалось необходимым обратиться также к фактам, лежащим за рамками указанной темы как таковой.

1. Приводимые в статье ЭССЯ **jbskati* 'искать' собирательные существительные блр. диал. *иск* 'пчелы-разведчицы в пору роения, новый рой', рус. диал. (смол.) *иск* 'пчелы, отыскивающие место для нового отделяющегося роя', (пск.) *иска́* 'то же' ([2, вып. 8, с. 238—239] — форма *иска́* неточно обозначена как смоленская, см. [8, вып. 12, с. 213]), к которым примыкают рус. диал. *исковые пчелы* [8, вып. 12, с. 216], блр. диал. *искавая пчала* [9, т. 2, с. 348], возможно, следовало бы выделить в отдельную статью — праслав. диал. (в.-слав.) **jbskъ*, девербатив от **jbskati* 'искать'. Сюда же следует отнести др.-рус. *искъ* 'судебный иск' [10, вып. 6, с. 351], рус. диал. (арх., ряз.) *иск* 'розыски', (арх.) 'позыв к случке (у домашних животных)' [8, вып. 12, с. 213]. Польск. *isk* 'несколько пчел, ищущих место для нового роя' [11, т. II, с. 110], вероятно, из белорусского.

Указанные факты целесообразно сопоставить с лит. диал. (ю.-аукшт. : Вейсейя) *ieškas* собирает. 'пчелы, ищущие место для роя' [12, т. IV, р. 14], от *ieškoti* 'искать', ср. еще рус. диал. (смол.) *искуить пчела* 'ищет места для будущего роя' [13, с. 300], блр. диал. *искаваць* 'о пчелах : искать место для нового роя' [9, т. 2, с. 348] : лит. *ieškauti* 'искать' [12, т. IV, р. 14]. Почти смыкаясь на северо-западе с ареалом лит. *ieškas*, граница ареала блр. *иск* (ср. [14, т. 3, с. 399]) проходит далее вдоль белорусско-литовского и белорусско-латышского пограничья (захватывая отчасти белорусские говоры на территории Литвы и Латвии [9, т. 2, с. 348]) и достигает зоны распространения пск. (великолуцк.) *иска́*. Близкие факты засвидетельствованы в Белорусском Полесье (юго-восток Брестской обл., Столинский р-н): *пóжск*, *појск* 'пчелиная разведка', *појскујум* 'пчолы' 'перед роением идут в разведку' [15, с. 350].

Литовские параллели, правда, более отдаленные, отмечались и для ряда других славянских названий пчел(ы)-разведчиц(ы), продолжающих праслав. **jbskalъ* [2, вып. 8, с. 237], производное с суффиксом *-lъ* (первоначальное попеп actionis) от **jbskati* и обнаруживающих нижнелужицко-восточно-

славянскую изоглоссу: н.-луж. *skal* 'пчела-разведчица, Spürbiene, Spähbiene', блр. *скаль* 'пчелы-разведчицы', укр. *скаль* 'то же', рус. *ска́лья* [16, т. IV, с. 173—174] и т. п. [17, с. 3—4], ср. лит. *ieškinỹs, ieskonės, ieškonios, ieškonys, ieškuoñės* и др. 'пчелы-разведчицы' [12, т. IV, р. 14—15].

2. Статьи ЭССЯ о праслав. **lipēti* и **l̥pēti* [2, вып. 15, с. 121; вып. 17, с. 91—92], глаголах состояния на *-ēti*, связанных с **l̥epiti* 'лепить', 'замазывать', 'прилеплять', **l̥rpoti* 'лнуть, прилипать, приклеиваться', включают такие восточнославянские факты, как рус. диал. (говоры в Мордовии) *липеть* 'быть слабо укрепленным, еле держаться; жить, еле поддерживая свое существование, свои силы', (брян., смол., нижегор., сарат. и др.), 'некрепко, едва, чуть держаться', (влад., яросл., смол., зап.-брян., ульян.) 'с трудом поддерживать существование, жить кое-как' [8, вып. 17, с. 54], блр. *ліпéць* 'чуть держаться, едва жить, лнуть, липнуть' [18, с. 269], диал. *ліпéць* 'болеть, ныть; сильно хворать, едва жить' [9, т. 2, с. 658] и т. п. (более подробные сведения об источниках по белорусскому слову см. [14, т. 5, с. 316]). Констатируя для данного случая семантическое развитие 'липнуть, приклеиваться, цепляться' > 'еле держаться' > 'едва жить, выжить' (ср. еще слов. *lipet'* 'выдержать' > *vilipim do pr̥ieho, kim dostañem plat* 'продержусь до первого, а там получу получку' [19, с. 164]), следовало бы, возможно, обратиться в первую очередь внимание не на гот. *liban* 'жить' и его германские соответствия [2, вып. 15, с. 121; вып. 17, с. 92], а на лит. (ср. этимологическую помету Э. Гринавецкене в [9, т. 2, с. 658]) *iš-lypėti* 'кое-как (вы)жить, дожить': *blogi gyvoliai iš sunkios žiemos vos išlypėjo* 'слабые животные в трудную зиму едва выжили' (пример из словаря А. Юшкевича); *kažin, ar šianakt ... vaikas išlypės. Jau suvis menkas* 'вряд ли этой ночью ... ребенок выживет. Уже совсем плохой' (ю.-жемайт.: Упина Шилальского р-на [12, т. VII, р. 561]). Ср. сходные рус. *вы=карабка́ться* 'вылезть; выбраться из трудных обстоятельств'; лит. *iš=sikapstyti* 'выжить, выкарабкаться': *kapstyti* 'рыть, разгребать'. Лит. *išlypėti, lypėti* (=слав. **lipēti*) 'лезть вверх, держаться, крепиться' близкородственно лит. *l̥pti, lipu* 'лезть, влезать, взбираться' и, далее, лит. *lipti, limpu* 'липнуть, прилипать', лтш. *lipt, lipu, lipstu* 'то же', 'держаться за что-либо' и др. [20, S. 375—376], ср. еще лтш. *lipēt* (=слав. **l̥pēti*) 'приставать, приклеиваться, следоват', *lipētiēs* (=слав. **lipēti*) 'прижиматься, ласкаться' [21, Vd. II, S. 473, 489]. Сюда же принадлежат и такие балтийские факты, как прус. *laipinna* 'приказывать, велеть': лит. *liēpti* 'велеть, предписывать' (ср. рус. *лену́ть* говорить резко и откровенно), *в-лену́ть выговор* и проч.), прус. *pa-llaipsītwēi* 'желать, жаждать' (не говоря о других [5, т. V, с. 32—36; 22, р. 31—32]). Значение последнего возвращает к ряду славянских слов от корня **l̥ep-/*lip-/*l̥p-*, обнаруживающих иное, нежели в случае с блр. *ліпéць* 'едва жить' и т. п., смысловое развитие — при тождестве исходного пункта ('прилепляться, цепляться') — чеш. *lipěti* за *pěšim, za pekut* 'страстно мечтать о ком, чем, жаждать его', слов. *lipnuj* 'липнуть; следовать; жаждать (кого- или чего-либо)' и др., ср. со вторичным анлаутом чеш. *chlipnuj* 'сладострастный, похотливый', слов. *chlipnuj* 'то же' и т. п. (см. подробнее [5, т. V, с. 33—36; 23, р. 50]).

Фонетически натянутое сепаратное сравнение блр. *ліпéць* 'чуть держаться, едва жить' (отделяемого этимологически от *ліпéць* 'липнуть, лнуть') с лит. *klibėti* 'шататься' [14, т. 5, с. 316] следует отклонить. Отсылку же к блр. *хліпéць, хліпкі* [там же] можно принять — лишь на правах предположения о вторичном взаимодействии, — но скорее не для *ліпéць*, а для рус. диал. (смол.) *хлипте́ть* 'о слабом проявлении жизни, о слабом и неровном горении' [2, вып. 8, с. 35; 5, т. V, с. 35].

3. Данный раздел целесообразно предварить несколькими замечаниями, касающимися генетических связей праслав. **mękьkь* 'мягкий'. Индоевро-

пейская перспектива этой лексемы и близких славянских фактов (**męk-*/**mрк-*) в общем ясна — к и.-е. **menku-* 'мягкий', **men(ə)k-* 'мять, месить', ср. лит. *minkyti* 'то же', лтш. *mīkt* 'размягчаться' и проч. [24, Bd. I, S. 730—731]. Из родственных балтийских адъективов в славистической литературе указывают обычно [2, вып. 18, s. v. **mękękъ*] лит. *minkštas* 'мягкий', лтш. *mīksts* 'то же' (<балт. **mink-sta-* [25, t. I, p. 463]), за редкими исключениями не упоминая лит. *meñkas* 'небольшой, неважный, незначительный, плохой, худой, тощий, слабый (о больном), полуживой и т. п.' [12, t. VIII, p. 11—13], которое не без оснований сопоставляется с *minkštas* [20, S. 436].

«Дискриминация» *meñkas*, по всей вероятности, обусловлена тем, что литовское слово обычно относят к другому индоевропейскому корню — **men-(k)-* 'маленький; уменьшать' [24, Bd. I, S. 728—729], а это, в свою очередь, вызвано тем, что *meñkas* отклоняется от *minkštas* и **mękękъ* семантически. Можно, однако, предположить эволюцию 'мять, разминать, размягчаться' (лит. *minkyti*, лтш. *mīkt*) > 'мягкий' (лит. *minkštas*, слав. **mękękъ*) > 'слабый, бессильный, плохой' (лит. *meñkas*), приведя в ее подтверждение несколько примеров сосуществования значений 'мягкий', 'слабый, вялый', 'плохой' и на балтийской, и на славянской почве и имея в виду, что с идеей мягкости нередко сочетаются также положительные коннотации — 'кротость, уступчивость', 'потепление (о погоде)' и проч. Лит. *minkštas* 'мягкий, нежный, податливый, чувствительный, теплый (о погоде)' имеет и значения 'слабовольный, вялый, слабый', лтш. *mīksts* 'мягкий, теплый (о погоде)' — также 'слабый' и т. п. (см. подробнее [12, t. VIII, p. 223—231; 21, Bd. II, S. 642—643]). Ср., далее, в числе рефлексов **mękękъ* такие примеры, как рус. *мягкая лошадь* 'послушная, робкая в работе, слабая и с ленцой' ([16, т. II, 974] — при лит. *minkštas arklys* примерно с тем же значением, но и *meñkas arklys* 'тощий, слабый конь' [12, t. VII, p. 12, 226]; лтш. *mīksts zirgs* 'слабый конь' [21, Bd. II, S. 643]), чеш. *měkký* 'нетвердый, нежный, слабый, изнеженный' [26, d. I, s. 998], диал. *měeko* 'дурно, плохо (о самочувствии)' [27, s. 58], в.-луж. *mjekki, mjehki, mjahki* 'мягкий, изнеженный, плохой' [28, S. 363, 366], н.-луж. *měkku* 'мягкий, нежный, слабый' [29, вып. I, с. 877]. Число славянских фактов этого рода легко увеличить, ср. хотя бы укр. *м'якнути* 'становиться мягким, становиться расслабленным, слабым', русл *об-мякнуть* и т. п.

Даже если значение др.-рус. *мАкота* 'упадок сил, слабость, немощность' (Усп. сб. XII—XIII вв. [10, вып. 9, с. 343]) обусловлено греч. *μαλακία* 'мягкость, изнеженность, недуг', интересно отметить его внешнее тождество лит. диал. *menkata* 'нездоровье' [12, t. VII, p. 13], производному с суффиксом *-ata* от *meñkas*, ср. еще лит. *meñkti* 'ухудшаться (о здоровье)', 'слабеть' в контекстах *meñksta jo sveikata* 'ухудшается его здоровье' и под. [12, t. VIII, p. 15—16]. Упомянутое др.-рус. *мАкота* восходит к праслав. **mękota*, деривату с суффиксом *-ota* от **mękъ*, ср. относящиеся сюда же ст.-слав. *мАкота* 'мягкость', др.-рус. *мякота* 'то же' и проч. [2, вып. 18, s. v. *mękota*].

Получившее широкое распространение мнение об отсутствии у **mękękъ* (с двусмысленным *-e-*: <**-en-* или **-in-*, ср. [30, с. 174]) точных индоевропейских параллелей, иногда побуждавшее исследователей видеть в этой лексеме девербатив от **mрçiti*, **mękнpti* (ср. [30, с. 156]) или от несохранившегося **mękti*, **męкp* 'мять' [31, s. 358]¹, нашло отражение и в статье

¹ Ср. рус. диал. (забайк.) *мѣгчи* 'мять', в котором усматривают рефлекс предполагавшегося В. Махеком глагола [2, вып. 18, s. v. **mękti*].

ЭССЯ **meĭkĭkĭ* [2, вып. 18, s. v.]. Такая точка зрения в известной мере ослабляет позиции еще одного распространенного воззрения на **meĭkĭkĭ* [там же] как на дериват первоначального адъектива **meĭkĭ* с основой на *-ĭ-* в соответствии с наиболее правдоподобной концепцией генезиса славянских прилагательных с суффиксом *-ĭkĭ*, см. известные труды А. Лескина, А. Мейе, Н. С. Трубецкого и других.

Праслав. **meĭkĭkĭ* допустимо сравнивать, вслед за Ю. В. Откупщиковым, с лит. диал. *menkūs* [32, с. 29]. Это прилагательное с основой на *-ĭ-* квалифицируется как одно из новообразований в речи молодежи, отклонение от нормы, которая представлена в данном случае лит. *meñkas* (аналогично *añkštas/ankštūs, baltas/baltus* и т. п. [33, р. 274]), но Ю. В. Откупщиков, ссылаясь на лит. *menku ko* 'мало ли что' в словаре Нессельмана (ср. *menkū ko* наряду с *meñka ko* 'то же' [13, т. VIII, р. 13]), считает форму *menkūs* архаичной. Сложнее обстоит дело с используемым Ю. В. Откупщиковым традиционным сближением **meĭkĭkĭ* с др.-инд. *mañkū-*. Как свидетельствуют славянские данные, прежде всего словен. *mekāk, mehku*, праслав. **meĭkĭkĭ* (и, возможно, утраченный адъектив с *-ĭ-* основой **meĭkĭ*) относилось к подвижной акцентной парадигме [34, с. 102]. Это, по-видимому, отменяет не раз повторявшийся впоследствии аргумент А. Мейе о несоответствии акцентной характеристики **meĭkĭkĭ* ударению древнеиндийского слова ([35, р. 326], ср. [36, т. III, с. 29; 37, Lief. 15, S. 546—547; 38, р. 44]). Значение *mañkū-* (согласно Т. Барроу — не 'shaking, vacillating', как обычно считается, а 'stupefied' [39, р. 388]) и не вполне ясные этимологические связи этого слова [37, Lief. 15, S. 546—547] не позволяют, однако, считать его надежным соответствием праслав. **meĭkĭkĭ*.

Интересующее нас блр. диал. *мяк* 'налим' сопоставлялось, на правах балтизма, с лит. *mėknė* 'язь' [14, т. 7, с. 137], что сомнительно как фонетически, так и семантически. Что касается блр. диал. (Збляны Лидского р-на) *мяк* 'налим' [9, т. 3, с. 74], то эту форму связывали с блр. *мень* 'то же' [14, т. 7, с. 16] < праслав. **meñ*' (см. ниже), и в этом случае *мяк* < **meñ*'*akĭ*, но нельзя исключить, что *мяк* является результатом контаминации *мень* (належ, *мянёк* и т. п. [14, там же]) и *мяк*.

Весьма перспективной представляется позиция, которую занял в отношении блр. *мяк* ЭССЯ, где под рубрикой **meĭkĭ* [2, вып. 18, s. v.] сводятся субстантивированные формы адъектива **meĭkĭ* 'мягкий' — блр. диал. *мяк* 'налим', словен. *meĭk* 'сырой выгон у реки' [40, knj. I, s. 567] — и девербативы от **meĭkti* 'мять', **meĭkati* 'мять, давить, толочь, бить' [2, вып. 18, svv.]. Статья **meĭkĭ* проиграла не от такого совмещения, но от того, что прошла мимо весьма вероятного сближения с некоторыми балтийскими данными, позволяющими, в частности, лучше понять географию славянских фактов.

Блр. диал. *мяк* 'налим' зафиксировано на границе с Литвой (Парэчка Гродненского р-на) — в непосредственной близости от ареала лит. диал. (ю.-аукшт.: Кучунай и Сейрийя Лаздийского р-на, Марцинконис Варенского р-на) *meñkė* ж. р. 'налим' [12, т. VIII, р. 13]. Литовскому *meñkė* (*ē*-основа) точнее бы соответствовало белорусское слово женского рода (например, **мяка*), но нужно помнить о принадлежности к *masculina* других славянских существительных, обозначающих налима, — рус. *мень, налим*, блр. *мянту́з, мень* и др. Основное же литовское название, *vėgėlė* — женского рода, ср. заимствованные из этого источника [41, с. 53] блр. диал. *вя́гала, вягела, вягяла* ж. р., но и *masculina* *вя́гал, вягул, вягял* [9, т. I, с. 384]. Показательно, что лит. *meñkė* 'налим' в иных местах Литвы (зап.-аукшт.) фиксируется в переносном значении 'о жирной, толстой бабе': *tokia meñkė gali gerai*

dirbti 'такая баба/=такая налимиха/хорошо может работать!' [12, т. VIII, р. 13]).

Форма *mėnkė*, однако, больше известна в значении морской рыбы — 'балтийской трески *Gadus morhua callarias*' (в литературном языке, в говорах вдоль побережья Балтийского моря и западной части литовско-латвийского пограничья, см. подробнее [12, т. VIII, р. 13]), а также 'наваги' [25, т. III, р. 925], ср. еще *sluoksniuotoji mėnkė* 'вахня, слоистая треска' [42, Bd. II, S. 82]. Следует иметь в виду еще лит. (редкое [43, р. 151]) (Клайпеда) *menkia* 'треска' и, с отклоняющимся значением, *menkà* 'рыба из семейства карповых, *Squalius cephalus*', т. е. 'голавль' (Лишкава Варенского р-на [12, т. VIII, р. 10, 14]). Латвийские соответствия представлены куронизмами *mēnca* (=лит. *menkia*), *mēnce* (=лит. *mėnkė*), *mēncis*, *mēncs*, *mēndza* 'треска' [21, Bd. II, S. 601], из которых шире всего (с небольшими оговорками, см. [43, р. 151]) распространен вариант с *-ā* основой *mēnca* — в литературном языке, в говорах балтийского побережья и в говорах, удаленных от моря [44, л. 135—136]. Интересно, что среди латвийских фактов представлено *mēncka* 'налим' (возле Бауски), причем то же слово известно и в значении 'треска' [44, л. 135, 240].

Предложенное белорусско-балтийское (точнее, белорусско-литовско-курское) лексическое сопоставление из сферы ихтиологии не находит, как будто, достаточно надежных дальнейших откликов в славянском. Таковым едва ли может быть признано штокав. (Герцеговина) *mėkūska* 'какая-то рыба' [45, d. 6, s. 595], хотя родство этого слова с **mękъkъ*, блр. *мяк* 'налим' и несомненно. С.-хорв. *mekuļa* 'вид рыбы', включенное в ЭССЯ в статью **mękuľa* [2, вып. 18, s. v.], засвидетельствовано, кажется, только в составе выражения *trboperke mekuļe*, передающего нем. *Bauchweichflosser* [45, d. 6, s. 595].

Вместе с тем это лексическое сопоставление позволяет использовать для этимологизации признаваемых недостаточно ясными [46, р. 200] балтийских фактов² ранее не использовавшиеся или недостаточно использовавшиеся ресурсы, имплицитруемые блр. *мяк*, которые целесообразно раскрыть подробнее. Следует сразу сказать, что мы не относим сюда — по крайней мере если иметь в виду ближайшую перспективу — не раз сравнивавшиеся с лит. *mėnkė*, лтш. *mēnca* славянские названия налима и некоторых других рыб, продолжающие праслав. **mьnь* (данная реконструкция, видимо, точнее, чем обычно восстанавливаемое **mьnь* [36, т. II, с. 599]), ср. рус. *мень* и производные (диал.) *менёк*, *менюх*, *менишка*, *ментус* и т. п. [36, т. II, с. 599; 49, S. 131]. При всей важности вопроса о генетическом соотношении слав. **mьnь* и лит. *mėnkė*, лтш. *mēnca* сближение последних явно проигрывает в точности их сближению с блр. диал. *мяк* 'налим', герсп. слав. **mękъkъ* и, по всей видимости, должно рассматриваться во вторую очередь. На данном этапе изложения рефлексy **mьnь* привлекаются пока в числе других типологических параллелей. Необходимо в то же время подчеркнуть неправомочность предположения о заимствовании балтийских слов из славянских фактов вроде в.-луж. *mjenk*, н.-луж. *mjenk*, *menk* [44, л. 137] или из финно-угорского источника, едва ли обоснованно предполагавшегося и для **mьnь* [31, с. 370; 50, с. 86—87]. В свою очередь, самобытность и древность блр. диал. *мяк* выглядят еще более очевидными на фоне блр. *мянка* 'треска' (в памятниках письменности с 1539 г.), заимствованного из лит. *mėnkė* [41, с. 48].

² Следует иметь в виду и соответствующие восточнобалтийские гидронимы и топонимы: лит. *Мейкас*, *Менкәіс*, *Мейкүрә* [47, р. 211], лтш. *Мейса*, *Мейсис*, *Мейсу-пурвс*, *Мейса-пурвс*, *Мейсу-валкс* и т. п. [48, d. I, s. 2, л. 419—420].

Сближение блр. диал. мяк (налим), а также лит. *tėnkė*, лтш. *tėĩsa* 'то же' с праслав. **тєкѣкъ* 'мягкий' можно подтвердить прежде всего такими свойствами налима, как мягкотелость (*Меніўки: она (рыба эта) экая мя г-ка я!* влад. [8, вып. 18, с. 109]) и отсутствие полноценной чешуи (скользкость)³. Значительная ширина и толщина головы налима сближают его с голавлем, что, вероятно, объясняет значение лит. диал. *tenkė* 'голавль' (ср. родство рус. *голова*: *голавль*).

Показательно и.-е. **gēb(h)*- 'слизистый, мягкий; налим, жаба', куда относятся нем. *Quappe* 'налим', ср.-н.-нем. *quabbe* 'влажная масса', швед. диал. (s) *kvabb* 'нечто густое, жирное', (s) *kvebba* 'жирная женщина', дат. *kvabso* 'самка рыбы пинагор, *Cyclopterus lumpus*, с мягким скользким телом' (ср. дат. *havpadde* 'пинагор', буквально 'морская жаба' [51, Bd. I, S. 599]), прус. *gabawo* (**g'əb(h)*-) 'жаба', слав. **žaba* 'жаба, лягушка' [24, Bd. I, S. 466]. Обнаруживаемые рефлексами **gēb(h)*- семантические связи оказываются в определенной степени релевантными для блр. диал. *мяк* 'налим' и его балтийских соответствий. Контекст, иллюстрирующий белорусское слово в диалектологической записи, содержит показательное сравнение налима с лягушкой: *у мяка шырока галава, як у жабы...* [9, т. 3, с. 101], ср. в связи с другими названиями налима: *вягялы, у іх галава, як у жабы; вягулы без лускі, пахожы на вугра*⁴ ... *галава на лягушку пахожа...*; *у мянтуза галава як у жабы* и под. [9, т. 1, с. 384; т. 3, с. 105]. Приведем еще голл. *puut(aal)* 'налим', англ. *eel-pout* 'то же': голл. *puut* 'лягушка' [51, Bd. I, S. 599].

Тяготение хладопобивого налима к малоподвижным водам, обычное для него пребывание на дне, особенно илистом (иногда — зарывшись в ил), «леность» (ср. рус. диал. *лежень* 'налим', 'лежбока' и под. [49, S. 134—135]) заставляют обратить внимание на близость рассматриваемых названий этой рыбы таким русским диалектизмам, как (пск.) *мякоть* 'участок дна (реки, озера) с илом', (калин.) 'дно озера', (яросл., калуж.) *мякшій* 'медлительный, нерасторопный', (влад., смол., калуж., моск.) 'ленивый, с ленцой' [8, вып. 19, с. 73, 80], ср. выше рус. *мягкая лошадь* и т. п. Существенно также нередкое для рефлексов слав. **тєкѣкъ* сочетание 'мягкости' и 'сырости', 'влажности'⁵ ('грязи'), ср. упомянутое словен. *těk* 'сырой выгон у реки', слов. диал. *teka luka* 'сырой луг' [19, s. 174] или еще рус. диал. (твер.) *мяч, мяча* 'слякоть' [54, с. 102—103] при лит. *mankūtī, minkūtī* 'месить грязь' (*minkaus nei rūpijė moly* 'вязну как жаба в глине', т. е. 'плохо живу' Шилале [12, т. VII, р. 841; т. VIII, р. 221]), (зап.-аукшт.) *tankus* 'непролазный, раскисший — о дороге' [12, т. VII, р. 843]. Блр. *мяк* как раз и является тем компонентом статьи ЭССЯ **тєкѣ*, который объединяет рефлексы субстантивированного **тєкѣ* 'мягкий' и девербатов от **тєкti, *тєkati*, в частности, рус. диал. (смол.) *мяк* 'тупой удар' [12, с. 426]. Русское диалектное (пск.) выражение *съесть налима* 'упасть в грязь' [6, т. II, с. 133] (ср. нем. *Quappe* 'налим': *quappen*, глагол, передающий звук от падения чего-либо мягкого и жирного) подтверждает близость блр. *мяк* и, видимо, лит. *tėnkė* 'налим' фактам типа рус. диал. (волог., брян., карел., новг. и др.) *мякнуться* 'шлепнуться, растянуться, упасть, удариться' [8, вып. 19, с. 75, 79], ср. рус. *ш-мякнуться*.

В то же время, значения слав. **тєkati* 'мять, давить, бить, толочь', лит. *mankūtī*

³ Ср.: *Мняк — гэта налім, яе жўрэі ня елі, таму што лускі нету, ні кашырна* [9, т. 3, с. 74].

⁴ Показательны германские названия налима типа нем. *Aal-quappe, Aal-raupe* (второй компонент восходит к лат. *rubeta* 'жаба') при нем. *Aal* < герм. **ela* 'угорь' [52, S. I].

⁵ Ср. швед. диал. (Готланд) *ylla* 'налим', прус. *wilnis* 'то же' < и.-е. **uln-*, к и.-е. **uel-* 'влажный, сырой' [53, s. 89—93; 25, т. II, р. 152].

'мять, комкать, тискать'), *minkuī* 'мять, месить' и даже слав. **mьka* 'мука' напоминают, в связи с обозначениями налима, о свойствах этой рыбы идти на икрометание (зимой) вверх по течению, обившись в довольно тесные стаи, а летом прятаться в некое «стесненное» место — под коряги и камни, в ямы, норы: *вязлы ... яны ў норах, пад каменнямі...*; *мянтузы водзяцца ў карчах, у норах* [9, т. I, с. 384; т. 3, с. 105]; *vėgėtės sėdz' po akmenaiš* 'налимы бывают под камнями' [55, р. 282]. Эти свойства, как полагают, отразились в нем диал. (шваб.) *treusch*, (алеман.) *trusch, trisch* 'налим', объясненных Й. Левенталем [56, S. 462—463] из герм. *preutskōn*, далее к и.-е. **treud-* 'стискивать, давить, толочь', откуда англосакс. *preāt* 'давка, толкотня', др.-в.-нем. (*ar-, bi-*) *driozan* 'стеснять, угнетать', слав. **trudъ* 'труд, забота, страдание' и т. п. [24, Bd. I, S. 1095—1096; 52, S. 1, 812].

Сказанное, на наш взгляд, делает весьма вероятным предположение о самостоятельности, древности и, по-видимому, первичности «пресноводных» значений рассматриваемых балтийских слов. Значения же 'треска, навага' проще всего объяснять как результат переноса названия пресноводной рыбы на морскую. Отрицать принципиальную возможность такого переноса было бы допустимо, критикуя сопоставление **мьн'ь* 'налим' и лит. *mėnkė*, лтш. *mėnca* 'треска' [49, S. 133], но, конечно, не в случае с лит. *mėnkė* 'налим', 'треска' или лтш. *mėncka* 'то же'. Здесь существованию не столько весьма относительное внешнее сходство налима и морских тресковых, сколько многочисленные случаи переноса названий налима на морских рыб [44, l. 137]. Перечень приводившихся Б. Лаумане примеров легко расширить, ср. хотя бы нередкий перенос 'налим' > 'бельдюга' (англ. *eelpout* и др.) или еще рус. диал. (арх.) *мень* 'рыба тресковой породы морской налим, *Brosmius vulgaris*' [57, с. 90], с.-хорв. *морски мањић* 'рыба мольва семейства тресковых' [58, д. XII, с. 113]. Интересно рус. *меньки* мн. ч. в значении 'навага' (онежск. [16, т. II, с. 830]).

В то же время, задаваемой родством с слав. **мькькь* этимологической перспективе, возможно, не противоречит предлагавшееся К. Бугой [25, т. II, р. 248, 406] и другими объяснение лит. *mėnkė*, лтш. *mėnca* из лит. *mėnkas*, ср. показательный пример: *tiek žuvų mažų ir didelių, gerų ir menkų* 'столько рыб, маленьких и больших, хороших и плохих' [20, S. 436; 21, Bd. II, S. 601]. Связь *mėnkė, mėnca* с *mėnkas* лучше всего оправдывается свойствами тощего, нежирного мяса трески и вообще тресковых (жир которых находится в их печени) и становится особенно очевидной, когда речь идет не о свежей (нем. *Dorsch, Kabeljau*) или соленой (нем. *Laberdan*) треске, но о высушенной (нем. *Stockfisch*), ср. лит. *išdžiūvęs kaip mėnkė* 'высох как треска' [12, t. VIII, р. 13]. Здесь нет места для перечисления многочисленных фактов, характеризующих треску как не слишком питательную (постную) и невзыскательную пищу, нередко сравниваемую — не в пользу трески — с лососем, ср. лтш. *kurpnieku lasis* (: *kurpnieks* 'сапожник') 'треска' и под. [44, l. 135], лит. (из сборника текстов, опубликованных в прошлом веке в Тильзите): *Oi, oi pegerai Palangoj: gytą mėnkė, vakarą mėnkė...* 'ой, ой, плохо в Паланге: утром треска, вечером треска...' [12, t. VIII, р. 13].

В заключение — еще несколько слов о праслав. **мьн'ь*. Принадлежащее В. Махеку предположение о заимствовании этой лексемы из финно-угорского источника было поддержано В. Т. Коломиец, которая даже сделала далеко идущее заключение о том, что «в доисторическое время славяне находились на территории, на которой налим не был распространен, и лишь впоследствии узнали его, придя на территорию, заселяемую в то время финно-уграми» [50, с. 86; ср. 59, т. III, с. 463]. Этот вывод, однако, представляется поспешным.

Чеш. *mník*, ст.-чеш. *meň*, рус. *мень* 'налим' и т. п. В. Махек [31, с. 302] сравнил с марийск. *men* 'налим', венг. *menyhal* 'то же', фин. *toppi* 'сом', настаивая для славянского на исходном корневом *-e-* (вопреки обычной реконструкции с *-ь-*) и полагая, очевидно, что эта форма диктуется, с одной стороны, связью славянских фактов с лит. *mėnkė* 'налим, треска' и лтш. *teņsa* 'треска', а с другой — указанным финно-угорским материалом. Распределение славянских данных (в частности, с.-хорв. *mānic*, рус. *мень*: род. п. *меня*, но и *мня*; *мнёвый*), однако, свидетельствует об исходном *-ь-*, хотя исследователи иногда допускают двоякую реконструкцию: и с *-ь-* и с *-e-* ([60, knj. II, s. 177], ср. иначе [61, s. 173]). Ситуация осложняется наличием форм с *-i-*: рус. диал. (курск., арх.) *минь* [8, вып. 18, с. 170], укр. *минь*, словен. *tīnek* 'головастик' [40, knj. I, S. 583]. В конечном счете, следует все же исходить из **тън'ь*, относя те или иные отклонения от «нормальной» рефлексации этой лексемы и ее производных (**тън'ькъ*, **тън'ихъ*, **тън'ьтустъ* [62, т. II, с. 34])⁶ в отдельных славянских языках на счет экспрессивности, отчасти обусловленной, быть может, мифопоэтическими представлениями о налиме [49, S. 130].

Общеславянское распространение **тън'ь*, характер его дистрибуции в отдельных славянских языках и, по-видимому, соображения фонетического порядка практической исключают версию о финно-угорском происхождении. Венг. *menyhal* — славянское заимствование (вариант *mėnyhal*, кстати, подтверждает корневое *-ь-* в **тън'ь* [63, knj. II, s. 369; 64, köt. II, old. 894]). Марийск. *men* 'налим', *mengol* 'то же' (ср. *gol* 'рыба' = венг. *hal*), морд. (эрзя) *mentuk*, (мокша) *māntuk* 'то же' [65, р. 99] являются, по-видимому, русизмами. Не может быть для **тън'ь* (как и для лит. *mėnkė*) источником заимствования фин. *toppi* 'сом' (вероятно, индоевропейского происхождения [66, II, s. 347]).

Слав. **тън'ь*, конечно, нелегко оторвать от традиционно сравниваемых с этой лексемой лит. *mėnkė*, лтш. *teņsa*, но более надежной их славянской параллелью оказывается блр. диал. *мяк* 'налим', локальное образование (пра-славянский диалектизм **мѣкъ* в значении 'налим'), связанное с **мѣкъкъ*, прямое сравнение с которым **тън'ь* затруднительно. Можно лишь высказать догадку о корневом родстве, попытавшись связать **тън'ь* с **мѣти*, **мьно* 'мять, давить'⁷ и предполагая, например, деривацию с суффиксом *-ьь*, как в **ръльь* 'улитка': **рълзи* 'ползти' и т. п. Это сопоставление допускает несколько дополняющих друг друга мотивировок (ср. анализ прус. *liede* 'щука' в ПЯ [5, т. V, с. 226 и др.]), по существу, намеченных выше («мягкая» рыба «месит» илистое дно, сбивается в стаи для икрометания, втискивается под коряги и т. п.). Нужно иметь в виду также удивительную прозорливость налима («äusserst gefräßig» [68, S. 90]), ср. тот факт, что праслав. **мѣти*.

(мять), несомненно имело, подобно рус. *мять*, значение 'жадно и много есть' [8, вып. 19, с. 92], ср. у-*мять*, диал. (твер., пск.) *мнуть* 'есть', *мня* (<**тън'а*) 'обжора' [8, вып. 18, с. 179].

Следует заметить, что другие известные нам возможности решить проблему слав. **тън'ь* собственно славянскими средствами неприемлемы. Истолкование рус. *мень* в связи с *меньший*, *меньше* наталкивается на то препятствие, что принадлежащий к числу крупных рыб налим едва ли может быть назван «более мелкой рыбой» [36, т. II, с. 599]. То же

⁶ Данная реконструкция, по-видимому, предполагает, что *-t-* является расширением суффикса *-цъ* (как и в случае с *-цхъ*, ср. укр. диал. *mėntюх* и др.), перенесенным от экспрессивных *popina agentis* на *-tati*, *-ьtati*, ср. рус. диал. *болтух* (болтун): *болтать* и под. [62, т. I, с. 74].

⁷ Говоря о сближении рус. *мень* и др. с **мѣти* В. Т. Коломиец [50, с. 85] ссылается на П. Перссона [67, S. 562, 658], но в его монографии соответствующие славянские названия рыб как будто не упоминаются.

возражение, кстати, может быть адресовано отнесению **тъпль* к и.-е. **m₂ni*-‘Fischname’ ([24, Bd. I, S. 731] — со знаком вопроса) и, далее, — к упомянутому и.-е. **men*-(*k*)-‘маленький, уменьшаться’ [24, Bd. I, S. 728]. Версия же о родстве *мень* и рус. диал. *мо́ня* ‘брюхо’ [49, S. 134] нереалистична из-за не вполне ясного и, по-видимому, позднего происхождения слова *мо́ня* [50, с. 85].

Для выяснения этимологии **тъпль* необходимо подробное рассмотрение его потенциальных индоевропейских соответствий, что не входит в задачи данной статьи. Заметим только, что, судя по данным словаря Ю. Покорного [24, Bd. I, S. 731], перспективными для сравнения с **тъпль* являются, по-видимому, лишь германские факты (о греч. *μαίτη, μαίτις* см. [69, Bd. II, S. 160]) — в том случае, если англосакс. *туне* (**тунве*) ‘сарито’ и, возможно, др.-в.-нем. *tun(i)wa* ‘саредо’ (=лат. ‘сарито’) действительно обозначали, как полагает И. Ледер, опираясь на синонимию *туне vel жепүте* (>англ. *eelprout* ‘налим, бельдюга’, см. выше), не мелкую рыбу — гольяна (Elritze), как обычно считается [51, Bd. II, S. 694], — а налима. Ср. относящиеся сюда же голл. *теип* ‘рыба *Onos mustela*, морской пятнусый налим’, нем. диал. *Münne* и сходные названия голавля, ельца и т. п. [49, S. 133; 56, S. 494], англ. *minnow* ‘гольян, мелюзга’ (о вторичности значения этого слова см. [70, p. 578]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трубачев О. Н. Праславянская лексикография. — В кн.: Этимология 1983. М., 1985.
2. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—17. М., 1974—1990. Вып. 18 (рукопись).
3. Słownik prasłowiański. T. I—VI. Wrocław etc., 1974—1991.
4. Трубачев О. Н. Об этимологическом словаре русского языка. — Вопросы языкознания, 1960, № 3.
5. Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. Т. I (A—D), II (E—H), III (I—K), IV (K—L), V (L). М., 1975—1990.
6. Журавлев А. Ф. К уточнению представлений о славянских изоглоссах. Дополнения к лексическим материалам «Этимологического словаря славянских языков». Ч. I—II. М., 1990.
7. Аникин А. Е. Из славянских названий птиц. I. Болг. диал. *догулице*. — Славяноведение, 1992, № 3.
8. Словарь русских народных говоров. Вып. 1—25. Л., 1966—1991.
9. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Т. 1—5. Мінск, 1979—1986.
10. Словарь древнерусского языка XI—XVII вв. Вып. 1—15. М., 1975—1989.
11. Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka polskiego. T. I—VIII. Warszawa, 1904—1927 (1952—1953).
12. Lietuvių kalbos žodynas. T. I—XIV. Vilnius, 1941—1986.
13. Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
14. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 1—7. Мінск, 1978—1991.
15. Анохина В. В., Никончук Н. В. Полесская терминология пчеловодства. — В кн.: Лексика Полесья. М., 1968.
16. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. I—IV. Спб. (М.), 1880—1882 (1955).
17. Borys W. Z geografii wyrazów słowiańskich. — Slavia occidentalis, 1977, t. 34.
18. Носович И. И. Словарь белорусского наречия. Спб., 1870.
19. Orlovský J. Gemerský nářečový slovník. Bratislava, 1982.
20. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955—1965.
21. Mühlēnbach K. Lettisch-Deutsches Wörterbuch, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. Bd. I—IV. Riga, 1923—1925.
22. Karaliūnas S. Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė. Vilnius, 1987.
23. Machek V. Une douzaine de graeco-slavica. — In: Исследования в честь на акад. Д. Дечев. София, 1957.
24. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—II. Bern, 1949—1959.
25. Būga K. Rinktiniai raštai. T. I—III. Vilnius, 1958—1962.
26. Kott F. Česko-německý slovník. D. I—VIII. Praha, 1878—1893.
27. Malina J. Stovnik nářečí mistřického. Praha, 1946.

28. *Pfuhl Chr. Tr. Lužiski-serbski slovník*. Budysin, 1866.
29. *Muka E. Slovník dožnoserbskeje řěcy*. Вып. I. Пр., 1921; Вып. II, Praha, 1928.
30. *Варбот Ж. Ж. Древнерусское именное словообразование*. М., 1969.
31. *Machek V. Etymologický slovník jazyka českého*. Praha, 1971.
32. *Откупщиков Ю. В. Балтийские и славянские прилагательные с -μ- основой*.— *Baltistica*, 1983. XIX (I).
33. *Zinkevicius Z. Lietuvių dialektologija. Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija*. Vilnius, 1966.
34. *Дыбо В. А. Славянская акцентология*. М., 1981.
35. *Meillet A. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*, II. Paris, 1905.
36. *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка/Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева*. Т. I—IV. М., 1964—1973.
37. *Mayrhofer M. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Lief. 1—31*. Heidelberg, 1953—1980.
38. *Vaillant A. Les adjectifs slaves en -akū*.— *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*, 1931, t. 31.
39. *Burrow Th. Dravidian studies. VII*.— *Bulletin of the School of Oriental and African studies*, 1948, v. XII.
40. *Pleteršnik M. Slovensko-nemški slovar*. Kn. I—II. Ljubljana, 1894—1895 (1974).
41. *Лауцмоте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках*. Л., 1982.
42. *Niedermann M., Senn A., Brender-Salys A. Wörterbuch der litauischen Schriftsprache*. Bd. I—V. Heidelberg, 1960—1967.
43. *Urbutis V. Baltų etimologijos etudai*. Vilnius, 1981.
44. *Laumane B. Zivju nosaukumi latviešu valodāgā*, 1973.
45. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I—XIX. Zagreb, 1880—1967.
46. *Sabalaiuskas A. Lietuvių kalbos leksika*. Vilnius, 1990.
47. *Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas*. Vilnius, 1981.
48. *Endzelins J. Latvijas PRS vietvāgānik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Knj. I—IV. Zagreb, 1971—1974.
49. *Leder I. Russische Fischnamen*. Wiesbaden, 1968.
50. *Коломиец В. Т. Происхождение общеславянских названий рыб*. Киев, 1983.
51. *Falk H. und Torp A. Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch*. Bd. I—II. 2-e Aufl. Heidelberg, 1960.
52. *Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*, (20 Aufl. bearb. von W. Mitzka). 21 unveränd. Aufl. Berlin, 1975.
53. *Liden E. Ordhistoriska bidrag*.— *Göteborgs högskolas Årsskrift*, 1920, Bd. XXVI.
54. *Горячева Т. В. Заметки по этимологии русских народных метеорологических терминов*.— В кн.: *Этимология 1977*. М., 1979.
55. *Petrauskas J., Vidugiris A. Lazūnų tarmės žodynas*. Vilnius, 1985.
56. *Loewenthal J. Etymologica*.— *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, 1929. Bd. 53.
57. *Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении*. Спб., 1885.
58. *Речник српскохрватског кр ижевног и народног језика*. I—XIV. Београд, 1959, 1989.
59. *Этимологічний словник української мови*. Т. I—III. Київ, 1982—1989.
60. *Bezljaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika*. Knj. I—II. Ljubljana, 1976—1982.
61. *Bezljaj F. Nekaj problemov iz ribjih imen*.— *Jezik in slovstvo*, 1959, № 6.
62. *Skawski F. Zarys słowotwórstwa praskowiańskiego*.— In.: *Słownik praskowiański*. T. I—III. Wrocław etc., 1974—1979.
63. *Skok P. Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Knj. I—IV. Zagreb, 1971—1974.
64. *A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Köt. I—III*. Budapest, 1967—1976.
65. *Collinder B. Fenno-ugric vocabulary*. Stockholm, 1955.
66. *Toivonen Y. H. et al. Suomen kielen etimologinen sanakirja*. I—VI. Helsinki, 1955—1978.
67. *Persson P. Beiträge zur Indogermanischen Wortforschung*. Uppsala, 1912.
68. *Benecke B. Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen*. Königsberg, 1881.
69. *Frisk Hj. Griechisches etymologisches Wörterbuch*. Bd. I—II. Heidelberg, 1954—1972.
70. *The Oxford dictionary of English etymology* (Ed. by C. T. Onions. With the assistance of G. W. S. Friedrichsen and R. W. Burchfield). Oxford, 1966.



Памяти А. М. Селищева.
К 50-летию кончины Учителя

ИВАНОВА Т. А.

СТАРΟΣЛАВЯНСКОЕ *РЕТЬ* — СУПР. Р. 400. 16

Интересующес нас слово *реть* употреблено в Супрасльской рукописи в гомилии Иоанна Златоуста на евангелие от Матфея (XII. 14): «Слово о зависти юже въ еуаггелии речено: излѣзше фарисѣи съвѣтъ сътвориша на ісѣ. да юго изгоубАтъ» [1].

Это слово давно привлекало внимание исследователей. Так, К. Мейер в словоуказателе к памятнику снабдил его восклицательным знаком, что должно указывать или на сомнительность греческой параллели, или на какое-то искажение [2]. Именно как искажение слово *рѣтъ* — 'рот' дано это слово в «Словаре старославянского языка» ЧСАН [3]. По-видимому, составители чешского словаря опирались в данном случае на «Словарь церковно-славянского языка» А. Х. Востокова, в котором *рѣтъ* *кораблю* определяется как 'часть судна' с глухим указанием на Пролог XVI в сербского извода [4].

Вместе с тем в «Словаре к древне-церковнославянским текстам» Л. Садник и Р. Айцетмюллера слово *реть* фонетически закономерно возводится к *ръть*, однокоренному с *рѣтъ*, и объясняется как 'возвышающаяся передняя или задняя часть судна' [5]. Заметим, что в «Лексиконе» Фр. Миклошича именно форма *ръть* *кораблю* указана в нескольких поздних Прологах сербского извода [6, с. 809].

Однако Р. М. Цейтлин в небольшой статье «Из заметок по древне-болгарской лексикологии (др.-болг. *реть*)» высказывает свое несогласие с точкой зрения австрийских славистов: «*Реть* в Супр. 400, 16 употребляется, несомненно, пейоративно, в контексте, где перечисляются отрицательные свойства, связанные с понятием зависти» [7, с. 374].

Отстаивая это утверждение, Р. М. Цейтлин пытается доказать, что в старославянском языке была лишь одна лексема *реть* с исконным *e*, известная в той же Супрасльской рукописи (321,1) и в Зографских листках (2а, 22), однокоренная с *рать* и употреблявшаяся первоначально, действительно, пейоративно в значении 'раздор, спор, распря, соперничество'.

Однако доводы Р. М. Цейтлин не представляются убедительными. Чтобы показать это, приведем текст Супрасльской рукописи: ѡ зависти ко рабѣю гноша плнѣ некрѣстѣнааго... твоіа жжа сжтъ грѣховѣнии съжзи. твоА пленица сжтъ зависти. и корабѣча бѣси. весла лѣсти. реть. лицемѣрство. прѣклады завистливии [1].

Комментируя этот текст, Р. М. Цейтлин пишет: «Зависть представлена в виде корабля, оснащенного отрицательными свойствами человека, которые

ею порождаются» [7, с. 375]. Однако это заключение представляется ложным, так как основано оно, с нашей точки зрения, на логической ошибке, допущенной уважаемым автором. В действительности же снасти *кораблиа*, уподобляемого Иоанном Златоустом зависти, — вполне конкретные слова, имеющие точное предметное значение: *жжа* — 'канаты', *пленица* — 'цепи', *весла* — 'весла'. При этом слово *реть* оказывается в их ряду, и, следовательно, называет некую корабельную снасть или что-либо подобное. Сами же снасти «корабля зависти» отождествляются с отрицательными свойствами человека, ею порождаемыми: *реть. лицемерство*.

Подтверждение своей точки зрения Р. М. Цейтлин видит в том, что основные значения греческого соответствия *αὐχῆν* 'шея, затылок, горло, горный проход, пролив, развилка (пути)' — «не соотносятся со словом *реть*» [7, с. 375]. Однако, по данным «Thesaurus graecae linguae» многозначное греч. *αὐχῆν* могло употребляться в значении, проливающим свет на значение слав. *реть* в Супрасльской рупописи 400.16, а именно 'часть руля, или рулевого весла, кормила' [8]. При этом, по данным того же словаря, употребление *αὐχῆν* в этом значении было присуще И. Златоусту: пример такого употребления имеется в его гомилии на Второе послание коринфянам ап. Павла.

Небезынтересно, что то же значение имело производное *αὐχένιον*, употребление которого отмечено в сочинении Константина Багрянородного «Об управлении государством», переведенного неоднократно на русский язык. Переводчиков это слово ничуть не затрудняло. Так, Г. Ласкин перевел его как 'румпель' [9], а Г. Г. Литаврин как 'кормило' [10].

Давно известно, что пять гомилий И. Златоуста, дошедшие до нас в составе Супрасльской рукописи, содержатся в том же самом переводе в Успенском сборнике XII—XIII вв. К числу их относится и интересующая нас гомилия «О зависти» [11]. Э. Благова, исследовавшая эти пять гомилий в их соотношении, пришла к убедительному выводу, что «с точки зрения текста, лексики и синтаксиса Усп. довольно консервативен. Он строго соблюдает первичный текст, в некоторых случаях даже л у ч ш е (разрядка моя.— Т. И.), чем Супр.; варианты текста, за исключением явных искажений, единичны. Лексические варианты также свидетельствуют о большом консерватизме писца. В них почти отсутствуют слова младшего словарного состава, т. е. такие слова, которые не встречаются в древнейших старославянских памятниках» [12].

И вот в интересующем нас случае в Успенском сборнике имеется различие: вместо *реть* читается *рать* [11, с. 199б, 25]. Конечно, это различие можно отнести к числу «явных искажений». Но возможно и иное объяснение, если допустить, что в протографе Супрасльской рукописи читалось, как и в Успенском сборнике, — *рать*. Тогда *рать*, в соответствии с греч. *αὐχῆν*, означает 'часть кормила', так называемый румпель, т. е. шест-рычаг, при помощи которого *корабьчии* осуществлял управление судном.

Это древнее значение легко прослеживается в однокоренных производных, известных как в памятниках письменности, так и в живых славянских говорах. Формы *ратовище* и *ратище* в значении 'древко копья' и просто 'копье' дошли до нас в Геннадиевской библии 1499., в двух книгах Ветхого завета: *ратовище* — *κοῦτόσ* в I кн. Царств (17.7), *ратище* — *δόρυ* в I кн. Паралипоменон (11.23) [6, с. 796].

По данным картотеки Словаря русских народных говоров (Словарный сектор Института русского языка, СПб.), во многих русских говорах в значении 'шеста-рукоятки' разнообразных примитивных орудий труда употребляются: *ратовище* у лопаты, граблей, цепа, остроги и т. п., *ратаище* у пещни, *ратовье* у вил.

В заключение заметим, что все эти формы вполне достоверно этимологизируются на основании данных германских языков, в которых родственные слова также имеют значение шест, жердь, палка¹ [13].

Таким образом, следует признать, что *реть* в Супрасльской рукописи 400.16 является ошибкой писца, основанной, вероятно, на омонимии *рать*¹ 'вражда, борьба' и *рать*² — 'шест, рукоятка' и синонимии *рать*¹ и *реть* с исконным *е* — 'распря, раздор'.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Супрасълски или Ретков сборник. Т. 2. София, 1983, с. 261.
2. Meyer K. Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis. Glückstadt und Hamburg, 1935, S. 218.
3. Slovník jazykstaroslověnské ho. 35. Praha, 1982, s. 655.
4. Востоков А. Х. Словарь церковно-славянского языка. Т. 2. СПб., 1986, с. 158.
5. Sadnik L., Aitzetmüller R. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955, S. 115.
6. Miklosich Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1865.
7. Цейтлин Р. М. Из заметок по древнеболгарской лексикологии (др.-болг. *реть*).— В кн.: Исследования върху историята и диалектите на българския език. София, 1979.
8. Thesaurus graecae linguae, t. I, p. 2. Parisiis, 1831, p. 2593.
9. Чтения ОИДР. Кн. I. М., 1899, с. 74.
10. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989, с. 48.
11. Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971, с. 330—336.
12. Благова Э. Гомилии Супрасльского и Успенского сборников.— В кн.: Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966, с. 86.
13. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971, с. 448.



МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Седакова О.А.

Церковнославянско-русские паронимы.

ДВѢЖИТИ (ДВѢЖЪ) – беспокоить, σκύλλω: Οὐ μὲρὲ δψιη τωολ: не двѣжи оучителя (ме σκύλλε) (Лк. 8,49).

ДЕРЖАВА – 1: сила, могущество; поддержка, κρηπίς: Держава гдѣ воащнхса ѿгò (Пс. 24,14); Тòй даетъ силѣ и держава людемъ своимъ (Пс. 67,36); Ты владычествеша державою морскою (Пс. 88,10); 2: власть, господство, κατασχέςις: Да смертію оупразднитъ имѣщаго держава смертн, сирѣчь діавола (Евр. 2,14); Влаже чѣсть и держава вѣчнаа (1 Тим. 6,16); 3: правление, κράτος: ѿкω да под⁵ державою твоєю ... (Л. 3л).

ДЕРЖАВНЫЙ – 1: могущественный, мощный, κραταιός:

И сїаніе ѿгò, ѿкω свѣтъ вѣдетъ, рòзн въ рѣкахъ ѿгò, и положи любовь державнѣ крѣпости своей – И сияние Его будет как свет, в руках Его – рог, и положил Он [в основу] могущественную любовь силы своей (ѣдето ἀγάπην κραταιὸν ἰσχύος αὐτοῦ) (Библи. п., 4); 2: благородный, превосходный, κρατίστος: Извòмиса и мнѣ ... порѣдѣ писати тебѣ, державный деофіле – (Лк. 1,3).

ДЕРЖАТИ (ДЕРЖЪ) – 1: иметь, владеть: И тогда начнеша со стѣдòмъ послѣднее мѣсто держати (Лк. 14, 9); 2: соблюдать: Слово дѣржатъ, и плодѣ творѣтъ въ терпѣніи (Лк. 8,15).

ДЕРЗАТИ (ДЕРЗАЮ) – осмеливаться, ободряться, не унывать, θαρσέω: Дерзай, чадо, ѿпѣшайотса ти грѣси твои (Мф. 9,2); Дерзай, землѣ, радѣйся и веселісся, ѿкω возвелічи гдѣ, ѿже сотворити. Дерзайте, скòти польетіи... (Иоиыл 2, 21-22).

ДОВѢРѢТА – красота: Беззакòнни же повелѣша ѿкрыти ю, бѣше во покровѣнна, да насытитса доверѣты ѿл (Сусанны) (Дан. 13,32); Красенъ доверѣтою паче всѣхъ сынòвѣтъ челоувѣческихъ (Пс. 44,3); Зрѣщнхъ твоегò лица доверѣтѣ неизреченнѣю – Видящихъ лица Твоего красоту несказанную (Пол. повс.); Сыне мой, гдѣ доверѣта зайдѣ зрѣака твоегò; – Сын мой, куда ушла красота Твоего облика? (Утр. Вел. пт.).

ДОВЕРЬИ – прекрасный, καλός: А ѿже на доверѣи землн сїи естѣ, ѿже доверимъ сѣрдцемъ и благимъ слышавше слово, дѣржатъ, и плодѣ творѣтъ въ терпѣніи (Лк. 8, 15); азъ ѿсмь пастырь доверий: пастырь доверин дѣшѣ свою

Продолжение. Начало см. Славяноведение № 5

полагаетъ за бѣцы (Ин. 10,11); 2: красивый: Се вси добра, искреннаа моа, се вси добра: бѣчи твои голубиѣ — Как красива ты, ближняя моя, как красива: очи твои как у голубя (Песн. 1,14); Сосанна же баше младѣ зѣлао и добра бвразомъ

ДОВОЛЬНЫЙ — 1: способный, годный: Ктѣ доволенъ цѣль сохрaненъ быти ѿ врага; — Ктѣ способен сохрaниться невредимым от врага? (Окт., гл.2, антиф. 2.); Вѣмъ, ѣкѣ нѣсмъ достѣннъ ниже доволенъ да подѣ кровъ видѣши хрaма дѣши моеа — Знаю, что я не достоин и не годен, чтобы Ты вошел под кров дома души моей (М. к Пр.); 2: многочисленный, достаточный: Швлекѣ люди довольны въ слѣдъ себѣ — Увел за собой многих людей (Деян. 5,37); Ниже во кѣ погребенію живи вѣхъ довольны — И живых не доставало для погребения (умерших) (Прем. 18,12).

ДОВѢСТИ (ДОВѢМЪ) — знать, понимать (ср. НЕДОВѢДОМЫИ): Чтѣ же азъ тебѣ принесѣ, не довѣмъ (Окт., гл.4, сб.. повеч., КБ,9).

ДОИТИ (ДОЮ) — кормить грудным молоком, ἐθίλασθω (см. ДОИЩАА): ѣкѣ се днѣ градѣтъ, въ нѣже рекѣтъ: блажены неплоды, и оутробы, ѣже не родиша, и сосцы ѣже не доиша — Идут дни, в которые скажут: «Блаженны бесплодные, и утробы, которые не рождали, и груди, которые не кормили». (Лк. 23,29).

ДОЛЖНЫЙ — повинный: ѣще во враги ѣтроковъ твоихъ и дѣжныхъ смѣрти съ толикимъ мѣчилъ вси внѣтѣмъ и цаденіемъ ... — Если и врагов детей Твоих и повинных смерти с таким снисхождением и пощадой Ты наказывал ... (Прем 12,20)..

ДОМЪ — 1: род, οἶκος: ѣмѣже ѣмѣ іосифъ, ѿ домѣ давдова (Лк. 1,27); 2: семья, οἰκία: И вѣрова самъ, и весь домъ ѣгѣо (Ин. 4,53); 3: прислуга, θεραπεία: Вѣрный рабъ и мѣдрый, ѣгѣже поставитъ господинъ ѣгѣо надъ домомъ своимъ, ѣже даати ѣмъ пищѣ во время (ѣхъ) (Мф. 24,45).

ДОМОВИТЫЙ — домохозяин, οἰκοδεσπότης: Человѣкъ нѣкин вѣ домовитъ, ѣже насади виноградъ (Мф. 21,33).

ДОСАДА — дерзость, оскорбление, ὕβρις, ἀτιμία: Досада по ланитомѣ оудареніа терпѣ — Терпя оскорбление удара по ланитам (Окт., гл 3, нед. утр., К. воскр., п.4).

ДОСАЖДАТИ (ДОСАЖДАЮ) — оскорблять, бесчестить: Сбмце помѣрче, не терпѣ зрѣти вѣа досаждаема (Утр. Вел. пт.).

ДОСАЖДЕНІЕ — оскорбление, унижение, то же, что Досада (см.): Досажденіемъ и мѣкою истѣжкимъ ѣгѣо, да оувѣмы кротость ѣгѣо — Унижением и мучением испытаем его, чтобы узнать кротость его (Прем. 2,19).

ДОСТОИНСТВО — свойство, качество, достоинство, ἀξία: Стомѣ дѣхъ живоначальное достоинство, ѿ негѣже всѣкое живѣтно ѣдѣшевѣлетѣ — Духу Святому принадлежит свойство животворения, ибо Им одушевляется все живое (Окт. гл. 5, нед. утр., степ.).

ДОСТОЯНІЕ — 1: наследство, имущество, владение, κληρονομία: Бѣже, прѣидѣша ѣзыцы въ достѣаніе (Пс. 78,1); Спѣи гдѣи люди твои и вѣгослови достѣаніе твоѣ — Спаси, Господи, Твой народ и благослови владение Твое (Троп. Кресту); 2: достоинство, ἀξιωμία: Да возведѣтъ человекѣ, ѣкѣ ѣдинъ силенъ, въ пѣрвое достѣаніе — Чтобы Он, как Единый [Ктѣ] в силах, возвел человека к первоначальному достоинству

(Ак. Б. М.).

ДОАЩАА – кормящая мать: Горе же неправды и доащамъ въ тѣхъ дни – Горе же беременнымъ и кормящимъ в те дни (Ис. 24,19).

ДРЕВО – 1: дерево: $\bar{\omega}$ всакаго дрѣва, ѣже въ рай, снадію снасте: $\bar{\omega}$ дрѣва же, ѣже развѣсти доврое и лѣкавое, не снасте $\bar{\omega}$ негѡ (Быт. 2, 16-17); 2: корабль: Потоплѣмъ землю пакн спасѣ премѣдрость, малымъ дрѣвомъ праведника соблюди – Потопляемую землю снова спасла Премудрость, посредствомъ малого дерева (ковчега) сохранив праведника (Ноя) (Прем. 10,4); 3: Крестное Древо: Блгообразный Іосифъ съ дрѣва снаемъ пречѣое тѣло твоѣ ... (Утр. Вел. Сб). Ср. сопоставление значений 1 и 3: Посредѣ ѣдема дрѣво процвѣтѣ смѣрть посредѣ же всеа земли дрѣво прозавѣ животъ – Посреди Эдема древо дало цвет – смерть, и посреди всей земли Древо произрастило жизнь (Окт. гл. 8, утр., сед. крест).

ДРАХЛЫЙ – 1: печальный, смущенный, σκιδρωπός, στυγνάτος: Онъ же драхль бывъ ѡ словеси, ѡидѣ скорбѣ – И он, смущенный [этим] словом, отошел, скорбя (Мк 10,22); Чтѡ сътъ словеса сіа, ѡ нихже стазѣтаса къ себѣ идѣще, и ѣста драхла – Что за дела, о которыхъ вы, идя, спорите между собой и опечалены? (Лк. 24,17); 2: угрюмый, σκιδρωπός: Разрѣшиа тма драхла, $\bar{\omega}$ ѣда во возсіа сѡнице правды хѣтѡсъ... – Разрушена угрюмая тьма, ибо от ада воссиял Христос, солнце правды (К. Всем Св.).

ДРАХЛОСТЬ – уныние, угрюмость, κατήθεια: Житію и плѡти моеѣ свѣтъ возсіа и драхлость грѣховъ разрѣши (Окт. гл. 2, нед. Утр., КПБ, п. 5).

ДЫХАНІЕ – живое существо; все, что дышит: Всакоє дыханіе да хвѣлитъ гдѣ (Пс. 150,6).

ДЪГА – радуга, τόξον: И въ дѣга ѡкрѣстъ престѡла подобна видѣніемъ смарагдови – И радуга вокругъ престола была видомъ подобна изумуду (Откр. 4,3); Дѣга мою полагаю во ѡблаци и ѣдетъ въ знаменіе завѣта (вѣчногѡ) междѣ мнѡю и землѣю (Быт. 9,13).

ДѢЙСТВІТЕЛЬНЫЙ – деятельный; и вдохнѣшаго ѡмъ дѣшъ дѣйствительнѡю, и вѣднѣшаго дѣхъ животный – И вдохнушаго в него деятельную душу и вдунавшего духъ жизни (Прем. 15,11).

ДѢЛАТЕЛЬ – 1: исполнитель: Своихъ заповѣдей дѣлатель искъсна іавитъ мѣ (М. пов); 2: работник, ἐργάτης: Наѣти дѣлатели въ виноградѣ свой (Мф. 20,1); 3: Земледелец, γεωργός (см. ДѢЛТИ): Ѧзъ ѣсмь лозѣ истиннаа, и оцѣ мой дѣлатель ѣсть (Ин. 15,1); Дѣлателью мыслей нашихъ и насаждителю дѣшъ нашихъ – Воздѣлывающий (какъ землю) наши мысли и насаждающий наши души (Окт.); Ѧпѡл хѣтѡвы, дѣлатели сѡсовы кѣтъ оуѣво ꙗкоже рѣло на рѣмѣхъ носѣще, ѡладѣвшѡю землю ідольскою прелѣстію ѡчнѣтнѣша, и вѣры слово всѣлѣсте – Апостолы Христовы, земледельцы Спасителя, неся на плечахъ крестъ, какъ плугъ, въ землю, запущенную (по причине) ідольского обмана, расчистив, слово веры посеяли (Окт., гл.7, ср. веч., на стиховн. стихира ап.).

ДѢЛТИ (ДѢЛЮ) – 1: действовать, совершать дела, ἐργάζομαι: Оцѣ мой досѣлѣ дѣлаетъ, и Ѧзъ дѣлю (Ин. 5,17); 2: работать, промышленяты: Пріемный пѣтъ талантъ, дѣмъ въ нихъ (Мф. 25,16); Вѡлове дѣлающіи землю наедѣтъса пѣвѣтъ ... (Мс. 30,24); 3: воздѣлывать землю, γεωργέω:

РАДУЙСЯ, **ДѢЛАТЕЛЯ** **ДѢЛАЮЩАЯ** **ЧЕЛОВѢКОЛЮБЦА** (Γεωργὸν γεωργοῦσα φιλόανθρωπον) – **Радуйся**, **возделывающая** **возделователя** **человеколюбца** (Ак. Б. М., Ик.3).

ДѢЛО – 1: создание; творение, изделие, ἔργον: **И мѣ людѣ твоѣ, всѣ дѣла рукѣ твоѣю** (Вел. пов.); **Благословіте гдѣ всѣ дѣла ѡгѡ на всѣакомѣ мѣстѣ владычества ѡгѡ** – **Благословіте Господа, все творения Его, на всяком месте владычества Его** (Пс. 102,22); **Идоли іазыкъ, сребрѣ и златѣ, дѣла рукѣ человѣческихъ** – **Идолы язычников – серебро и золото, изделие рук человеческих** (Пс. 113,13); 2: действие, деяние, делание, πράγμα: **Не оумрѣ но живѣ вѣдѣ и повѣмѣ дѣла гдѣна** (Пс. 117,17); **Идѣко ты воздѣси комѣждѣ по дѣломѣ ѡгѡ** (Пс. 61,13); **Изыдетѣ человекѣ на дѣло своѣ и на дѣланіе своѣ до вечера** (Пс. 103,23); 3: вещь, ἔργον: **Земля же, и іаже на ней дѣла сгорѣтъ** – **А земля, и все, что на ней, сгорит** (2 Петр. 3,11); 4: вид работ (дѣло виноградное, дѣло маслинное), ἐργασία: **Сожѣтъ дѣло маслинное, и полѣ не сотворѣтъ іади** – **Не впрок будет уход За маслинами и поля не произрастят пищи** (Пс. П., 4). ● **ДѢЛО** семантически соотносится со словами **СЛОВО** (см.), **ВѢЩЬ** (см.).

ВДА – разве: **Ἐπιτίμη πλάττει: ἐὰν ἄνθρωπος ἰουδαῖος ᾖ;** – **Отвечал Пилат: «Разве я иудей?»** (Ин. 18,35).

ЖАЛОВАТИ (**ЖАЛѢЮ**) – сожалеть, сокрушаться: **За сѣм всѣм, и за дрѣгѣм свѣдомымъ и несвѣдомымъ грѣхѣ моѣмъ жалѣю сердѣчно ... каюся жалѣстно** – **Обо всех этих и о других ведомых и неведомых грехах моих сокрушаюсь сердцем ... и каюсь горестно** (Млв.).

ЖАЛОСТНО – горестно, с сокрушением. См. **ЖАЛОВАТИ**: **Ѡгда же ѡуслышаша, смѣтѣишиа мѣжи, и жалѣстно имѣ бысть сѣлѣю іако не лѣпо сотвори во ізраилѣ, бывѣ съ дщѣрїю іаковлею** (Быт. 34,7).

ЖАЛОСТЬ – ревность, ζήλος: **Жалѣсть дѣмѣ твоѣгѡ смѣсть мѣ** – **Ревность по доме Твоем снедает Меня** (Ин. 2,17);

ЖЕСТОКІЙ – 1: суровый, трудный (для понимания и исполнения), σκληρός: **Мнози оубѣ слышавше Ѡ оученикъ ѡгѡ рѣша: жестоко ѣсть слово сѣе: и кто мѣжетѣ ѡгѡ послѣшати** – **И многие из учеников Его, услышав, говорили: «Как трудны (странны) эти слова, и кто может их слушать?»** (Ин. 6,60); **За словеса оустень твоихъ ѣзъ сохранихъ пѣти жестоки** – **Ради слов уст Твоих я сохранил трудные пути** (Пс. 16,4). 2: непокорный: (бѣтъ) **премѣдрѣ во ѣсть мѣслѣю, крѣпокѣ же и великъ, кто жестокъ бывѣ прѣтивѣ ѡгѡ, превѣсть** (Иов. 9,4).

ЖЕЛАНІЕ – 1: воля: **И желанїю сатанѣнѣ не ѡстави менѣ** – **И не отдай меня воле сатаны** (Млтв.); 2: предмет желания, то, чего желают: **Желанїе грѣшника погібнетѣ** – **То, что желанно грѣшнику, погибнет** (Пс. 111,10).

ЖИВІТИ (**ЖИВЛІЮ**) – 1: сообщать жизнь, ζωοποιεω: **Дхѣ ѣсть иже живитѣ** (Ин. 6,13); 2: оставлять в живых, ζωονέω: **Ѡубѣаша же бабы вѣа ... и живлѣхѣ мѣжескїй полѣ** (Исх. 1,17);

ЖИВѢТЬ – 1: жизнь, ζωή, вечная жизнь: **Вѣ томѣ живѢтъ вѣ, и живѢтъ вѣ свѣтъ человекѣмѣ** – **В нем была жизнь, и жизнь была – свет людям** (Ин. 1,4); **Ѡумерщвлѣннїи востѣхомѣ и животѣ спѣдѣхомѣ** – **Мы,**

умерщвленные, воскресли и удостоились [вечной] жизни (Час., Крестобог. гл. 2); 2: Жизнь – именование Христа: Животѣ, како оумираеши; како и во гробѣ ѡбитаеши – О Жизнь, как Ты умираешь? Как в гробе поселяешься? (Утр. Вел. Сб); 3: земная жизнь, образ жизни: Исправи животѣ нашѣ къ заповедемъ твоимъ – Направь нашу жизнь к заповедям Твоим (Час 9); Восхваляю гдѣ въ животѣ моемъ, пою бгѣ моемѣ дождеже ѣсмь – Восхваляю Господа моего при жизни моей, буду петь Богу моему, пока жив (Пс. 145,2).

ЖИВОТНЫЙ – 1: принадлежащий жизни, дающий жизнь (См. ЖИВОТѢ, 1): рече же имъ їисъ: азъ ѣсмь хлѣбъ животный – Сказал же им Иисус: «Я – хлеб Жизни.» (Ин. 6,35) ● **ДРЕВО ЖИВОТНОЕ** – древо жизни (именование Креста); 2: всякое живое существо (в том числе, и бесплотное): ѡверзаеши ты рѣкъ твою, и исполнаеши всякое животное благоволеніемъ (Пс. 144,16); И посреда престома и ѡкрестъ престома четыре животна исполнена очесъ спреди и создаи (Откр. 4,6).

ЖИДОВСТВО – еврейский закон: слышасте во мое житіе иногда въ жидовствѣ – Вы слышали ведь о моей жизни прежде в еврейском законе (Гал. 1,13).

ЖРАТИ (ЖРѢ) – приносить в жертву: И ѡко друзи ѡгю, дѣши наша пожремъ ѡгю ради – И, как друзья Его, принесем в жертву души наши ради Него (Утр. Вел. пт.).

ЗЕЛІЕ – растение, λάχανον: ѡгда же возрастѣтъ болѣе всѣхъ зеліи ѡсть – (Мф. 13,22).

ЗЛОБА – 1: зло, злодейство, лукавство: Да скончается злоба грѣшныхъ (Пс. 7,10); 2: бедствия: Ико (бгѣ) милостивъ и щедръ ѡсть, долготерпеливъ и многомилостивъ и раскѣлвайся ѡ злобахъ – Ибо Бог милостив и сострадатель, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствиях (человеческих) (Иоиль 2,13); 3: забота, тягость, кахія: Довалѣт днѣви злоба ѡгю – Достаточно для (каждого) дня его заботы (Мф. 6,34).

ЗЛОДѢИ – преступник, καχοποιος: ѡще не бы былъ сей злодѣи, не быхомъ предали ѡгю тебѣ – (Ин. 18,30); Ведѡхъ же и йна два злодѣа съ нимъ оубити (Лк. 23,32).

ЗЛѢ – 1: тяжело: Сѣтникъ же нѣкоемъ рабѣ бола злѣ (Лк. 7,1); 2: дурно, ложно: ѡще злѣ глаголахъ, свидѣтельствѣи ѡ злѣ, ѡще ли добрѣ, что мѣ вѣеши (Ин. 18,23).

ЗЛОВѢРСТВО – маловерие: Дѣши во зловѣрство преложи на благовѣріе (Стих. Фом. нед., ср.).

ЗЛОБА – 1: бедствие: Ико извѣлваша ѡ злѣхъ, благодарственнаа воспнѣемъ ти ... – Мы, как спасишся от бедствия, пишем Тебе благодарственное [песнопение]... (Ак. Б.М.); 2: лукавство, зло: Мѣжа неправедна злѣа оумоватѣ во истиніе – Неправедного человека (его) зло увлечет к гибели (Пс. 139,12).

ЗЛЫЙ – плохой, лукавый: И въ ношѣ вѣдетъ надежда злѣ – И ночью будет обманная надежда (Ис. 28,19); И рекѣтъ всѣмъ злѣмъ глагола, на вы лжѣще менѣ ради (Мф. 5,11); ѡще ли же речетъ злѣи рабѣ той въ сѣрдцы своемъ: коснитѣ господинъ мой принти (Мф. 24,48).

ЗА – по причине, из-за: Црѣ нѣный за челоуѣколюбіе на земли явилса, и съ челоуѣки поживѣ (Окт. гл. 8, Суб. веч., стих Богор.).

ЗАВѢТЬ – завещание, договор, διαθήκη: И рече гдѣ къ мѡуѣсѣю: се азъ полагаю тебѣ завѣтъ предъ всѣми людьми твоими (Исх 34,10); Сѣмъ во ѣсть кровль моѣ, новаго завѣта ... (Мф. 26,28); сотвористе совѣтъ не мною, и завѣты не дѣхомъ моимъ, приложити грѣхѣи ко грѣхѣмъ – Приняли решение не [в согласии] со Мною, и заключили договоры не по духу Моему, чтобы прибавить грехи к грехам (Ис. 30,1).

ЗАВѢТНЫЙ – относящийся к завету (см. ЗАВѢТЬ, 1).

ЗАВѢЩАНІЕ – наставление, увещевание, παραγγελία: Конѣць же завѣщаніѣ ѣсть любви ... (1 Тим., 1,5).

ЗАВѢЩАТИ (ЗАВѢЩАЮ) – требовать, увещевать, παραγγέλλω: Да завѣщѣеш нѣкимъ не йнако оучити ... – Увещевать некоторых, чтобы они учили не иному (1 Тим. 1,3).

ЗѢДНІЙ – (обыкн. множ. ЗѢДНАА) 1: то, что противопоставлено лицѣ (см. ЛИЦѢ), ὀπίσθιος: И ѡнмъ рече мою, и тогда оузрши зѢднѣмъ моѣ: лицѣ же моѣ не явилса тебѣ. (Исх. 33,23); И погвѣлю лицѣ ѡгѡ въ мѡри пѣрвѣмъ, и зѢднѣмъ ѡгѡ въ мѡри послѣднѣмъ (Иоиль 2,20). 2: прошлый: ѡдино же, зѢднѣмъ оубо забывѣмъ, въ прѣднѣмъ же простирѣмса, со оусѣрдѣемъ гоню ... – Но единственно, забывая прошедшее, устремляясь в будущее, с усердием стремлюсь ... (Фил. 3,13-14).

ЗАДЪТИ – (ЗАДЪЮ, ЗАДѢЖЪ) – приказать, велеть: И семъ задѣша понестѣи крѣтъ ѡгѡ – И велели тому нести крест Его (Мф. 27, 32).

ЗАКОННЫЙ – относящийся к ЗАКОНЪ: Хрѣтѣсь ны искупилъ ѣсть ѡ клятвы законныѣ, бѣвъ по насъ клятва – Христос искупил нас от проклятия закона, став за нас проклятием (Гал. 3,13) см. КЛЯТВА; И ѡгда введѣста родителя ѡтрѣчѣ йса, сотворити йма по ѡбычаю законномъ ѡ немъ ... – И когда принесли родители Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним обряд по закону (Лк. 2,27).

ЗАКОСНѢТИ (ЗАКОСНЮ) – промедлить (см. КОСНѢТИ): Гдѣи не закоснѣи (Пс. 69,6).

ЗАМАТЕРѢТИ, ЗАМОТАРѢТИ (ЗАМАТЕРЮ) – состариться, созреть, быть в глубокой старости: Авраѣмъ же и сѣрра стѣра (вѣста), заматерѣвшѣмъ во днѣхъ (Быт. 18, 11); Сѣмъ заматорѣвши (προβηβηχῶν) во днѣхъ мнозѣхъ, живши съ мужемъ сѣдмъ лѣтъ ѡ дѣвства своегѡ – Она (Анна Пророчица) достигшая глубокой старости, прожив с мужем семь лет от девства своего (Лк. 2,36).

ЗАПННѢТИ – пята: Йдыи хлѣбы моѣ возвелѣчи на мѣ запннѣнѣ – Тот, кто ест хлеб мой, поднял на меня пята (Пс. 40,10).

ЗАПРЕТИТИ (ЗАПРЕЩЪ), ЗАПРЕЩАТИ (ЗАПРЕЩАЮ) – 1: угрожать, назначать наказание: Запретилъ ѡсѣи ѣзыкомъ, и погивѣ нечестивый (Пс. 9,6); И запрети чернѡмъ мѡрю и ислачѣ (Пс. 9,6); 2: устрашать: Запрети дхъ и возмѣтиса самъ (ἐνεβριμήσῃ τῷ πνεύματι) (Мф. 20,31)

ЗАПРЕЩЕНІЕ – 1: угроза, ἀπειλή: И ѡкрѣшасѣ ѡсновѣнѣмъ вселѣнныѣмъ, ѡ запрещеніѣмъ твоегѡ (Пс. 17,16); 2: наказание, ἐπιτίμιον: Тебѣ терноносный ѡврейскій сонмъ, христѣ, вѣнча, родоначальника разрѣшающа терноное запрещеніе – Несущий терния еврейский сонм ... Христе, увенчал

[ими] Тебя, прощающего наказания терниями, [назначенное] праотцу (Имеется в виду Быт. 3,18: « Терния и волчцы произрастит она – земля – тебе ») (Окт. гл. 6, нед. утр., КПБ, п.8); **УЧАНИЕ** НИНЕВИТское предвѣрилъ всѣм, возвѣщенное запрещение мимохода – Ты упредил отчаяние ниневитян, проведя мимо [них] [прежде] возвещенное наказание (Окт. гл. 1, вт., утр., сед.).

ЗАРѦ – сияние, блеск, αἴγλη: свѣтлоносныя же напоблившеса вѣственныа зарѦ (К. Пр. (Маюм)); ЗарѦми просвѣщаеми трѣцы (К. Ан. и Арх.); Позлащенною ризою ѣакоже црцѣ снѣ твоѦ просвѣтивъ зарею дѦа (Окт. гл. 6, нед. утр., КПБ, п. 8).

ЗАСТѢПИТИ (застѣпѣю), **ЗАСТѢПАТИ** (застѣпаю) защищать, прикрывать собой: Застѣпѣи (ἀντιλαβοῦ), спси помиласи ѡ сохрани насъ вѣже твоєю влгатию (Л. Зл.)

ЗАСТѢПНИКЪ – защитник, букв.: встающий впереди, προστάτης: Застѣпникъ дѣши моеѦ вѣди вѣже, ѣако посреде хожде сѣтѣи многихъ (Млв.).

ЗАСТѢПНИЦА – защитница, προστάτις (преимущественно о Пресвятой Богородице): Тебѣ молимса, дѣво, теплѣи застѣпницѣ; ѣако по вѣѣ застѣпницы иныа не ѣмамы (Окт. гл. 2, сб. пов, КПБ, п. 4).

ЗВАНІЕ – 1: крик, взывание, βοή: Глаголы моѦ внѣши, гди, развѣиъ звание мое – Слова мои услышь, Господи, уразумеи взывание мое (Пс. 5,1); Не забы званиа оубогихъ – Не забыл взывания бедняков (Пс. 9,13); Званиемъ же почитаемла сѣмъ: радѣиса лѣчѣ оумнаго снѣца – Почитаемая таким призыванием: « Радуйся, луч духовного солнца ». (Ак. Б.М.); 2: призывание, κλησις: Потщитеса извѣстно ваше звание ѡ извѣзание творити – Постарайтесь верно исполнить то, к чему вы призваны и избраны (2 Петр 1,10); 3: состояние, в котором призваны; сами призванные: Видите во звание ваше, братѣе: ѣако мнози премѣдри по плоти, не мнози силни, не мнози влгородни – Посмотрите, братья, на себя, призванных: не многие ведь мудры по плоти, не многие сильны (могущественны), не многие благородны (1 Кор. 1,26).

ЗВѦТИ (зовѣ) – 1: взывать, обращаться, κράζειν: Совираа всѦ ѣзыки зовѣщыа: гди, слава тебѣ – Собирая все народы, взывающие: « Господи, слава Тебе! » (Час. троп.); **У** всѦкнхъ насъ вѣдѣ свободѣ, да зовемъ ти: радѣиса... (Ак. Б.М.); 2: призывать, приглашать, καλεῖν, φωνεῖν (син. **ГМШѦТИ**): Мнози во сѣтъ звани, малю же избранныхъ (Мф. 20,16).

ЗДѦНИЕ – 1: создание, творение, κτίσις, πλάσμα: **В**да речѣтъ здание создавшемъ ѣ: почтѣ ма сотворилъ всѣм тѣако – Разве скажет создание Создателю своему: « Зачем ты создал меня таким образом? » (Рим. 9,20); Пригвождаемъ, измѣнилъ всѣм добротѣ зданин – Пригвождаемый, Ты искупил красоту творений (К. Вел. Сб.); 2: строение, дом, οἶκος, οἰκοδομή, δῶμα: **И** прѣстѣпѣша къ немъ оученицы ѣго показати емъ зданиа церковнаа – И подошли к Нему ученики Его, показывая храмовые строения (Мф. 24,1).

ЗНМѦ – холод: СтоѦхъ же раби ѡ слѣгн огнь сотворше, ѣако знмѦ вѣ ѡ грѣахъса – Стояли рабы и слуги, разводя огонь, поскольку было холодно, и грелись (Ин. 18,18).

ЗІАНІЕ – зев, раскрытая пасть: *ῥυτῆ* *распростёръ* *даніилъ* *львовъ* *зІаніа* въ *рѡвѣ* *затчѣ* – *Распостирая руки, Даниил во рву раскрытые пасти львов преградил* (К. Преп (Феоф.)).

ЗІАТИ – широко открывать зев, пасть: *Ἔ* *оустъ* *пáгвѣнаго* *змѣа*, *зіающаго* *пожрѣти* *мѧ* – *От уст губительного змея, раскрывшего пасть, чтобы поглотить меня* (Млв.).

ЗРА́КЪ – облик, вид, идея, ὄρασις: *Бѣ* *же* *зракъ* *εἶ* *гῶ* *ἱακῶ* *молніа* *и* *оде́жаніе* *εἶ* *гῶ* *бѣ* *ἱακῶ* *снѣгъ* – *Вид его (Ангела) был как молния и одежда его бела, как снег* (Мф. 28,3).

ЗРА́НІЕ – зрелище: *Οὐ* *вы* *мнѣ*, *вопіо́уци*, *чтѣ* *сїе* *стра́нное* *зра́ніе* (Окт. гл.2, лт., К.Кр., п. 9).

И́ГРАТИ (И́ГРАЮ) – 1: прыгать, плясать, ликовать, *οἰχαῖρω*: *Дерзáйте* *и* *игра́йте* *безчáдныа* – *Ободритесь и ликуйте, бездетные* (КРБ (Крит)); *Съ* *нею* *игра́юще* *вопíемъ* *х́ртъ* – *С Ней, ликуя, взываем ко Христу* (К. Усп. (Маюм.)); *Да* *двоа* *игра́а* *величáю*, *бáже*, *гавлѣніа* *твоа* – *Чтобы ликуя возвеличил я, Благий, оба явления Твои* (К. Усп. (Ин.Д)); 2: веселиться, забавляться, *παίζω*: *И* *сѣдóша* *люде* *ἱасти* *и* *пíти*, *и* *востáша* *игра́ти* (Исх. 32,6).

И́ЗВѢ́ТИ (И́ЗВІЮ) – убить, перебить, ἀνελεῶ, ἀποχεῖνω: *И* *послáвъ* *и́звѣ* *всѧ* *дáти* *сѣщыа* *въ* *видлѣ́ме* – *И (Ирод), послав (своихъ людей), перебил всех младенцев в Вифлееме* (Мф. 2,16); *Ιερῡσαλίμε*, *Ιερῡσαλίμε*, *и́звѣвий* (*ἀποχείνουσα*) *прѣроки* ... (Мф. 23,37).

И́ЗВЛЕВ́АТИ (И́ЗВЛЮЮ) – выплюнуть, извергнуть: *И́звлевáти* *тѧ* *Ἔ* *оустъ* *мои́хъ* *и́мамъ* – *Извергну тебя из уст Моих* (Откр. 3,16).

И́ЗВЫ́ТИ (И́ЗВЫВА́ТИ) – 1: освободиться от чего-либо, избавиться, ἀπὸ τῆς ἀνάγκης: *Ἢ* *гда* *бо* *градѣши* *съ* *сопѣрникомъ* *твоимъ* *ко* *кнázю*, *на* *пѣти* *дáждь* *дѣланіе* *и́звыти* *Ἔ* *негῶ* – *Когда идешь с соперником твоим к владыке, по дороге постарайся избавиться от него* (Лк. 12,58); 2: избыточествовать, изобиловать, περισσεύω: *Колíкῶ* *наѣмникῶмъ* *Ἔ* *ца* *моегῶ* *и́звыва́ютъ* *хлѣбы*, *ѧзъ* *же* *гладомъ* *гнѣлю* – *Сколько наемников отца моего имеют хлеба в избытке, а я умираю от голода* (Лк. 15,17); *Ἢ* *ще* *не* *и́звѣдетъ* *прáвда* *вáша* *пáче* *кн́жникъ* *и* *фарисѣй*, *не* *внѣдите* *въ* *цѣ́ствіе* *не́бое* – *Если праведность ваша не будет избыльнее, чем у книжников и фарисеев, не войдете в Царствие небесное* (Мф. 5,20).

И́ЗВЫ́ТОКЪ – изобилие, остаток, περισσεῖα: *Сегῶ* *рáди* *Ἔ* *лѣже* *всáкъ* *сквѣрнъ* *и* *и́звытокъ* *злѣбы* – *Посему, отложив нечистоту и остаток злобы* (Иак. 1,21).

И́ЗВЕРТ́АТИ (И́ЗВЕРЧѢ) – вырвать, ἐξορύσσω: *Ἢ* *чеса* *вáша* *и́звертáвше* *дáли* *бýсте* *мнѣ* – *Глаза ваши, вырвав, дали бы мне* (Гал. 4,16).

И́ЗВѢ́АТИ (И́ЗВѢЮ) – пожелать, избрать: *Ἢ* *кῶ* *зáповѣди* *твоа* *и́звѣи́хъ* – (Пс. 118,3); *Сѣ* *дѣтрокъ* *мо́й*, *εἶ* *гῶ* *же* *и́звѣи́хъ* (Мф. 12,18).

И́ЗВѢ́АТИСѧ – безл. быть угодным, захотеться, δοχεῖν: *И́звѣи́сѧ* *и* *мнѣ* *послѣдовати* *всѧ* *и́спытнῶ*, *порáдъ* *писати* *тебѣ* *дѣржáвный* *дѣбфиле* ... – *Захотелось и мне, исследовав все тщательно, по порядку написать тебе, почтенный Феофил ...* (Лк. 1,1).

И́ЗВѢ́СТНЫ́Й – 1: верный, несомненный, надежный: *Γρῶ* *шнымъ* *и*

смирѣннымъ извѣстное прибежище, ω мнѣ извѣсти твою мѣть – Грешным и бедным надежное (верное) прибежище, уверь на мне Твою милость (КМПБ); Радѣйся, невѣрныхъ сѣмнителное слышаніе: радѣйся, вѣрныхъ извѣстнаа похвалѣ – Радуйся, сомнительный для неверующих слух; радуйся, достоверная для верующих похвала (Ак. Б.М.); Скорое и извѣстное даждь оутѣшеніе (Час 3); 2: уверенный, твердый, πληροφορηθεῖς: И извѣстенъ бывъ, ꙗко, ѡже ѡбѣща, силенъ ѡсть и сотворити – [Авраам] будучи твердо уверен, что то, что [Он] обещал, в силах и исполнить (Рим. 4,21).

ИЗВѢСТНО – 1: верно, несомненно: Въ тебѣ ... извѣстнѣ спасѣса ѡже по подобію – В тебе (о Марии Египетской) верно спаслось то, что (в человеке) по подобію (Божию) (Вел. К.); 2: основательно, тщательно; син **ИСПЫТНО** (см.): Шѣдше испытайте извѣстнѣ ω ѡтточати – Идите и разузнайте тщательно о младенце (Мф. 2,8); Накѣзанъ извѣстнѣ ѡческомъ законѣ – Основательно обучен отеческому закону (Деян. 22,3).

ИЗВѢЩЕНІЕ – основание, ὑπόστασις: ѡсть же вѣра, оуповѣваемыхъ извѣщеніе, вещей ѡблчѣніе (ἔλεγχος) невидимыхъ – Вера же – это основание того, на что надеются, доказательство вещей невидимых [Синод. пер.: осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом] (Евр. 11,1).

ИЗДАВАТИ, ИЗДАТИ, (ИЗДАЮ) – 1: отдать: ѡдъ лютый потрепетѣ ... и издѣавше юзники тщѣтельно – Содрогнулся злой ад ... и с усилием отдал узников (Утр. Вел. Сб.); 2: истратить: И издѣавши своѣ всѣ, и ни ѣднныа пользы ѡбрътши ... – И (она) истратив все свое (имущество) и не получив никакой пользы ... (Мк. 5,26).

ИЗДАННЫЙ – отданный: **ИЗДАКОМЪ ИЗДАННОЮ** жизнь, съ книжники оубити предѣхъ – Жизнь, отданную народам, книжники и фарисеи предали на смерть (Утр. Вел. Пг.).

ИЗДЫХАНІЕ – выдох: Дѣже до послѣднѣго моего издыханіа – Вплоть до последнего моего дыхания (М. по Пр.).

ИЗМЫТИ (ИЗМЫЮ) – омыть, вымыть: Измовѣнный не трѣбѣтъ, токмо нѣзѣ оумыти, ѡсть бо весь чистъ – Вымытый нуждается только в том, чтобы омыть ноги, ибо он весь чист (Ин. 13,10).

ИЗМѢНА – 1: замена, цена, выкуп: Не дѣстъ вѣѣ измѣны за сѣ – (Человек) не даст Богу выкупа за себя, (Пс. 48,8); Или что дѣстъ члѣвѣкъ измѣнѣ на дѣши своѣй (Мк. 8,31); 2: перемена (к лучшему): ѡм измѣна десницы всебѣшнаго (Пс. 76,11).

ИЗМѢНЕНІЕ – 1: смена, последователь: Двѣма же лѣтома скончѣвшемася прѣйтъ измѣненіе фѣлѣѣ поркіа фѣста – Когда же прошло два года, Феликс принял сменившего его [в должности] Поркия Фиста (Деян. 24,27); 2: то же, что **ИЗМѢНА**, 1 : Не дѣстѣ сокровище за нѣю (премудрость) и не извѣстѣся сребро на измѣненіе вѣм (Иов 28,15).

ИЗМѢНИТИ (ИЗМѢНЮ) – искупить, освободить: И ѡгненнаго родствѣа измѣнитъ мѣ – И от огненной геены освободит меня (КПИ); Пригвождѣемъ, измѣнитѣ всѣ добротѣ зданіи (К. Вел. Сб.).

ИЗНОСИТИ (ИЗНОШѢ) – выносить: Всѣмъ книжникъ навѣвѣса царствію

НЕБЕСНОМЪ, ПОДОБЕНЪ БѢТЬ ЧЕЛОВѢКЪ ДОМОВИТЪ, ЯКЕ ИЗНОСИТЬ ѿ сокровища своего нова и ветха — *Всякий книжник, наученный Царствию Небесному, подобен домохозяину, который выносит из хранилищ своих новое и старое (Мт. 13,52).*

ИЗНОСИТИ (ИЗНОСИЮ) — истощить: Богатство мое сѣе изнашивъ въ блудъ, пещъ ѿсмы плодовъ блгочестивыхъ ... — *Истощив, Спаситель, богатство мое в блудной жизни, не имею в себе плодов благочестия ... (Вел. К., ср, п.1).*

ИЗЪОБРАЗИТИСЯ (ИЗЪОБРАЖАЮСЯ) — образоваться: И во чревъ матери изобразихся плоть — *И в материнском чреве образовалась плоть (Прем. 7,2).*

ИЗЪОБРЕСТИ (ИЗЪОБРЕТѢ) — обрести, открыть, найти, εὐρισκείν: Първый всакъ пѣть изъобрѣтъ, даде возлюбленнои яю — *Открыв всякий путь праведности, дал (его) возлюбленному Израилю (К. Возн. (Маюм)).*

ИЗОЩРАТИ (ИЗОЩРАЮ) — заострять, точить: стрѣлы твоѣ изоощрены, сильне — *Стрелы Твои заострены, сильный (Пс. 44,6).*

ИЗРЕЧЕНИЕ — приговор: Оуже ѿмакѣтся трость изреченіа, ѿ седей неправедныхъ — *Уже обмакивается судьями неправедными трость приговора (Утр. Вел. Пт); ѿ комъ лютое изреченіе ѿже согрѣшимъ хощеши дати — О как суров приговор, который Ты вынесешь согрѣшившим (Окт., гл. 2, пнд. утр., К. п. 9).*

ИЗРАДНО — особенно: Израдно ѿ прѣтій, пречистѣй, преблагословеннѣй, славнѣй владычицѣ нашей вѣцѣ и прснодѣвѣ маріи (Лит. Зл).

ИЗРАДНЫЙ — 1: чрезвычайный, необыкновенный, особенный, ἐξαιρέτων: Израдний оугодинче хртѣвъ (К. Ник.); Израдное теченіе зраще волсви необычнма новма свѣзды ... — *Необыкновенное движение неизвестной новой звезды увидев, волхвы ... — (КРГ); 2: избранный.*

● **ИЗРАДНЫА ЛЮДИ** — избранный народ, λαὸν περιούσιον: Ты во вси со всѣми стѣими израднаа нашего спсєніа ходѣтанца (К. всем. Св.); Израдныа люди спѣсѣт вси (Вел. К. Ирм.1).

ИЗСТЪПЛЕНИЕ — выход из себя, безумие, ἔχθασις; син. ИЗЪМЛЕНИЕ (см.): азъ же рѣхъ во изстѣплєніи моемъ: ѿверженъ ѿсмы ѿ лица бчию твоєю — *Я же говорил в безумии моем: отвержен я от очей Твоих (Пс. 30,23).*

ИЗЪМНИТИ (ИЗЪМЛЮ) — привести в безумие: И ѿсловитса ісраиля ꙗкоже пророкъ изъмленный, человекъ дѣхомъ носимый (Осія 9,7).

ИЗЪМЛЕНИЕ — безумие: ѿ множества неправдъ твоихъ оумножиса изъмленіе твоє (Осія 9,7).

ИЗЪЩНЫИ — превосходный: Врача тѣ изъщна вѣка показѣ хртѣсъ (Окт. гл. 5, чтв. утр., КН, п. 6).

ИЗЪЫСКАННЫЙ — желанный (см. ИСКАТИ): Велиа дѣла гдѣа, изъыскана во всѣхъ волахъ ѿгѣо — *Велики дела Господни, желанны для всех, кто хочет Его (Пс. 110,2).*

ИЗЪЯВИТИ (ИЗЪЯВЛЮ) — явить, показать: Вѣтѣа во изъави безкнїжныа — *Ибо неграмотных Ты явил красноречивыми (К. Пт. (Дам.)).*

ИЗЪЯТИ (ИЗЪЯ) — 1: вывести (из чего-либо), избавить: Изми мѣ ѿ врагъ моихъ, вѣе (Пс. 68,2); Призови мѣ въ дєнь скорби твоєѣ и изми тѣ

(Пс. 49,15); 2: вынуть: Лицемере, изми първее вервно изъ очесе твоего, тогда оузриши изъати свечець изъочесе врата твоего – Лицемер, вынь сперва бревно из глаза твоего, тогда увидишь, как вынуть сучок из ока брата твоего (Мф. 7,5).

ИНОГДА – некогда, в иное, прежнее время, потè: Змий прельсти ёвѣ
ИНОГДА – Змей некогда обольстил Еву (Ак. Б.М.); **Вопіемъ ти ꙗкоже**
ИНОГДА гавріилъ – Взываем к Тебе, как прежде Гавриил (Час 6).

ИСКАЗИТИ (ИСКАЖѢ) – оскопить: И сѣтъ скопцы, ꙗже Исказѣша сами себе – И есть скопцы, которые сами себя оскопили (Мф. 19,12).

ИСКОВАТИ (ИСКОВАЮ) – 1: глубоко пронзить: Ископаша рѣцѣ мои и нозѣ мои (Пс. 21,17); Нозѣ ископавъ свои на крѣтѣ ѿже дрѣвле родоначальницы видѣвшѣ ходѣща тѣмъ въ рай, сокрывахъса – Пронзив ноги Твои на кресте, те, увидев которые, когда Ты ходил в рай, прародители скрылись (между деревьями рая – ср. Быт. 3,8) (Окт. гл. 8, ср. утр., К. Кр, п.9); 2: выкопать, орусово: И ископа въ немъ точило, и созда стѣлпъ – И выкопал в нем (в винограднике) давилню и построил сторожку (Мф. 21,33).

ИСКРЕННИЙ – ближний, πλησίος: Хама ѿного дѣше, ѿтцевѣица поражавши, срѣма не покрѣла еси Искреннаго ... – Душа, ты подражаешь Хаму – отцеубийце, не прикрыла позора ближнего (Вел. К: вт., п. 3).

ИСКЪСИТИ (ИСКЪШѢ) – 1: испытать, познать: Гди, Искъсѣи мѣ еси, и познамъ мѣ еси (Пс. 138,1); Искъсѣи мѣ, вѣже, и оувѣждъ сердце мое – Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое (Пс. 138,23); Спрѣгъ воловъ кѣпѣхъ пѣтъ, и градъ Искъсити ѿхъ – Я купил пять пар волов и иду проверить их (Лк. 14,19); 2: делать пробу: Сревро Искъшено земли очищено седмерицею (Пс. 11,7); Сревро неискъшено (Ис. 1,22); 3: соблазнять, искушать, πειράω: Что мѣ Искъшаете; (Мф. 22,18); Иже порѣганни преценѣи не наказавшесѣ достоѣна сѣда вѣимъ Искъсѣтъ – И те, которые не вразумились посмеянїями наказания, испытают (вкусят) заслуженный суд Божий (Прем. 12,26); Подробѣтъ сѣмъ члѣвѣческому много пострадатн и Искъшенъ быти ѿ старецъ и архіерѣи и книжникъ (Мр. 8,31); Никтѣ же Искъшаетъ да глаголетъ, ꙗко ѿ вѣа Искъшаетъ есмь ... не Искъшаетъ же тѣмъ никогѣже 4: испытывать (с сомнением), ἐκπειράω: Не Искъсѣиши гдѣ вѣа твоего (Мф. 4,7).

ИСКЪСНЫЙ – испытанный, достойный одобрения: Благоуденъ естъ вѣви, и Искъсенъ члѣвѣкомъ (Рим. 14,18).

ИСКЪСТВО – опытность, δοκιμή: Скорвь терпѣнїе: Терпѣнїе же Искъство, Искъство же оупованїе содѣлываетъ ... (Рим. 5,3-4).

ИСКЪСЪ – вкус: Радости всѣа Испѣнишасѣ, воскресенїа Искъсъ прїимша ... – Все наполнилось радости, (вкусив) Воскресения (Окт. гл. 3, стих. воскр.).

ИСКЪШАТИСА (ИСКЪШАЮСА) – испытываться: Огнемъ Искъшаются дѣла, блѣга и зла – В огне испытываются дела, добрые и дурные (К.А.).

ИСКЪШЕНІЕ – вкушение, πειρασμός: Не тѣниа Искъшенїемъ рѣждшѣа ... – Родившая, не испытав (не вкусив) истления (К.А.); Всѣако Искъшенїе ранъ подѣмше страстѣицы (Окт. гл. 6, пнд., утр., блаж.); 2: искушение, напасть, πειρασμός: Блаженъ мѣжъ ѿже претѣрпѣтъ Искъшенїе

(Иак. 1,12); И не введи насъ во искушѣніе (Лк. 11,4).

ИСПОВѢДАНІЕ – 1: прославление: Предваримъ лицѣ ѿгѡ во исповѣданіи, и во ѡмѡлѣхъ воскликнемъ ѡмѡ (Пс. 94,2); Видите во врата ѿгѡ во исповѣданіи, во двори ѿгѡ въ пѣниихъ – Войдите во врата Его с прославлением, во двори Его с песнопениями (Пс. 99,4); 2: открытое признание, ѡμολογία: Исповѣданіе вѣры; И пѣти тѣ во исповѣданіи сердечнѣмъ (Млв.).

ИСПОВѢДАТИ (ИСПОВѢДАЮ) – огласить, прославить: Исповѣдайте пѣмѣ стѣни ѿгѡ (Пс. 96,2).

ИСПОВѢДАТСА (ИСПОВѢДАЮСА) – прославлять: Исповѣдайтеса вѣѡ нѣсномѡ ѡкѡ вѣгъ, ѡкѡ вѣкѡ мѡлѡстѣ ѿгѡ (Пс. 96,2); Да исповѣдатса тебѣ людѣ вѣже, да исповѣдатса тебѣ людѣ всѣ (Пс. 76,7); Во ѡдѣ ктѡ исповѣстса тебѣ; (Пс. 6,6).

ИСПОЛНѢНІЕ – 1: полнота, πληρώμα: И ѡ исполнѣніѡ ѿгѡ мѡ всѣ прѡѡхомъ – И от Его полноты мѡ все восприняли (Ин. 1,16); 2: осуществление, исполнение: Ѳнъ прѡрѡковъ ѡтѣтѣ и законѡ исполнѣніе; 3: наполнение, то, что наполняет: Гѡмѡ землѡ и исполнѣніе ѡмѡ (Пс. 23,1); Да подвижетса мѡре и исполнѣніе ѿгѡ (Пс. 95,11).

ИСПОЛНѢТИ – наполнять: Иже вездѣ сѡи и всѡ исполнѣнѡи – Которѡи вездѣ присутствует и все наполняет (Млв.).

ИСПРѢВИТИ (ИСПРѢВЛЮ) – 1: утвердить, устроить, управить εὐθύνω: Гѡ воцѡрса ... Ибо испрѣви вселѣннѡю, ѡже не подвижетса – Господѣ воцѡрилса, ибо утвердил вселенную (так, что) она не подвижется (Пс. 92,1); Испрѣви стѡпы наша кѡ дѣланію заповѣдѡи твоихъ – Направь стѡпы наши к исполнению заповѣдей Твоих (Утр.).

ИСПРѢВИТСА (ИСПРѢВЛЮСА) – устроиться, утвердиться: Сѡнове рѡвѣ твоихъ вселѣтса, и сѣмѡ ихъ во вѣкѡ испрѣвитса – Сѡновѡ рабов твоих поселятса, и потомство их вовек утвердится (Пс. 101,29); Испрѣвиса ѡкѡвъ рѡцѣ прѣмѣнѣнѣвѣ – Утвердился Иаков, переменяя руки (К. Воздв(Маюм.)); 2: направиться: Да испрѣвитса молѣтва мѡѡ ѡкѡ кадѡло прѣдъ тобѡю ... – Пусть молитва моя направится к Тебе, как дым фимиама (Пс. 140,2).

ИСПРѢВЛѢНІЕ – исполнение: Дѡвродѣтелей испрѢвлѣніе и вѣры (Конд. Святит.).

ИСПРАЖНѢННЫЙ – опорожненный, опустошенный (от **ИСПРАЖНѢТИ** – сделать пустым): Ѳвѣрсѣнъ грѡбъ твоѡи и вѡнѡснѡмѡ плащаницы испражнѣны воскѡнѣмъ твоимъ (Окт. гл. 4, нед. утр., К. Воскр. (Дам), п. 4).

ИСПЫТАТИ (ИСПЫТѢЮ) – испытывать, допрашивать: Испытѡи сердца и ѡутрѡбы, неправеднѡ испытѣтса – Того, Кто испытует сердца и внутреннее (людей), неправедно допрашивают (Утр. Вел. пт.).

ИСПЫТНѡ – точно, тщательно, ἀκριβῶς, син. **ИЗВѢСТНѡ**: И мнѣ, послѣдовавшъ всѡ испытно ... – И мне, исследовавшему все досконально ... (Лк. 1,3).

ИСТАТИ – растлиться, погибнуть: ѡдѡма истѡвѣшаго ѡбновѣтѣтѣ – Погибшего Адама обновляет (Ак. Б. М.).

ИСТОЩАНІЕ – нисхождение, уничтожение, χένωσις: Бѡгѡволи сѡмъ запечатаннѡю ѡутрѡбѡ прѡйти истощанѣмъ стѡаннымъ – Благоизволил Сам прѡйти запечатанную (девственную) утробу в неизъяснимом

нисхождении (уничижении) (КРГ. (Маюм:)).

ИСТОЩИТИ – 1: опустошить: **И** во гробѣхъ новѣмъ помагається истощивый гробы мѣртвыхъ – **И** в новую гробницу полагается Тот, Кто опустошил гробницы умерших (Утр. Вел. сб.); 2: источить, излить: **В**гочною кровію истощенною вѣко хрѣте, **Ѡ** твоихъ пречѣтыхъ рѣверъ (Окт. гл. 5, нед. утр., К. Воскр., п. 9).

ИСТАЗАТИ (ИСТАЗЮ) – испытывать: **И** твоѣ славноѣ пришествіе, **и** истазательное содѣланныхъ нами – **И** Твое пришествіе во славе, испытующее то, что содеяно нами (К. Тр.) ● **Помыслѣмъ истазѣваемыѣ** – когда испытуются помыслы.

ИСЧЕЗАТИ (ИСЧЕЗАЮ), ИСЧЕЗНѢТИ (ИСЧЕЗНѢ) (с предлогомъ **ВѢ**, **ВО**) – горячо желать, стремиться: **И**счезаетъ во спасеніе твоѣ душа моя ... **И**счезоша очи мои въ слово твоѣ – Стремится к Твоему спасенію душа моя, ... устремлены глаза мои к слову Твоему (Пс. 118,81-82); **Ѡ**чи мои **И**счезѣтъ во спасеніе твоѣ (П. вс.).

ІЗРАЊАЛЬ, ІІАЛЬ, ІСРАЊАЛЬ – 1: патриархъ Иаковъ: **Н**анесѣша же на Іосифа слѣзъ клеветѣ ко ісраѣлю ѡтцѣ своемъ. **І**аковъ же любѣлаше Іосифа ... – **И** принесли ложное обвиненіе на Іосифа Израилю, отцу своему. **И**аковъ же любилъ Іосифа ... (Бт. 37,2); 2: семья Иакова, патриархъ и его дети: **И** **в**идѣ ісраѣль во ѡгупетѣ, **и** іаковъ пришельствова въ зѣмлю хамовъ (Пс. 104,23); 3: потомки Иакова, еврейскій народъ: **С**вѣтъ во **Ѡ**кровеніе іазыкомъ, **и** слава людѣи твоихъ ісраѣла (Лк. 2,32). ● **НОВЫЙ ІСРАЊАЛЬ** – новый избранный народъ, верующіе во Христа.

КАДІАЛО – воскурение (ладаном), благовоніе, каждение, θυμίαμα: **І**ако кадіало пріѣтное, плѣтію младѣнствѣющеи во святѣице сѣбе – [Пресвятая Богородица] в плотскомъ младенчествѣ приводится в святое святилище, какъ принимаемое [Богомъ] воскурение (К. Введ. (Вас. Бл:)); **Д**а **И**справится молитва моя **І**ако кадіало предъ тобою ... – Пусть молитва моя направится к Тебѣ, какъ дымъ фимиама (Пс. 140,2).

КАІЛЬ – слякоть, грязь, πηλός, χύλισμα: **П**есъ возвращається на свою блевѣтнѣ, **и** свинѣа ѡмѣвшисѣ, въ калѣ тинный – Собака возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья – в жидкую грязь (2 Петр. 2,22).

КААТИСА (КАЮСА) – 1: сожалеть о чем-либо, брать назадъ первоначальное решение; 2: раскаиваться, приносить покаяніе: **Ѡ** сѣхъ жалѣа, **в**інна себѣ **в**ѣ моемъ представляю, **и** **и**мѣю волю каатиса – Обо всемъ этомъ сожалея, виноватымъ предстаю передъ Богомъ моимъ и имею намереніе принять покаяніе (Повс. исп. грехов).

КВАСЪ – закваска, ζύμη: **И** **в**людитесь **Ѡ** кваса фарісѣйска **и** саддукѣйска – **И** берегитесь от закваски фарисейской и саддукейской (Мф. 16,6).

КЛАНАТИСА (КЛАНАЮСА) – 1: поклоняться, προσκυνέω: **Д**хъ **ѡ**сть **в**ѣтъ: **и** **и**же кланяется **ѡ**мъ, **д**ѣхомъ **и** истинною достѡнтъ кланатиса – Богъ есть духъ, и тотъ, кто поклоняется Ему, долженъ поклоняться в духѣ и истинѣ (Ин. 4,24); 2: кланяться: **Се** **к**нѣзь **н**ѣкій **п**ришедъ **к**ланашесѣ **ѡ**мъ, **і**ако **д**щи **м**оѣ **н**ынѣ **о**умрѣ – Вотъ подошелъ к Нему, кланяясь, некоторый начальникъ, [говоря], что дочь его умираетъ (Мф. 9,18).

КЛЕВЕТА – обвинение: Нанесѡша же на Іосифа слѡз клеветѡ ко Ісраїлю, ѡтцѡ своемѡ (Быт. 37, 2).

КЛЕВЕТАТИ (КЛЕВЕЩѢ) – обвинять, выступать (на суде) обвинителем, хατηγορεύω: Всѣ житїе растлѣнно слѡыми и влѣдными дѣлїи κλεβεσχητη на мѡя ... – *Вся жизнь (моя), растленная дурными и блудными делами, выступает обвинителем против меня* (Окт. гл 3, пят., К. Бог., п. 3).

КЛЕВЕТНИКЪ – обвинитель, хατηγορος: Ούσλυσθ ω тебѡ, ѡгда и клеветниці твой прїидѡтъ – *Выслушаю тебя, когда явятся и твои обвинители* (Деян. 23,35).

КЛЕВЕТНЫЙ – обвинительный, укоряющий, хατηγορικός: Ἰσче во κрещѡ тѡ, клеветна ми ѡстѡ ѡгнемѡ дымѡщася гора – *Ибо, если я крещу Тебя, укорит меня гора, дымящая огнем* (К. Б. Г. (Маюм)).

КЛЮЧЬ – засов, затвор (тж. и в переносном смысле), κλεις, κλειθρον: Живоначальнойю длїию смѣрти κλειθρι развѣрзлѡ ѡси – *Рукой живоначальной (дарующей жизнь) Ты открыл затворы смерти* (К. Вел. Сб.); Ключи дѣви не вредивши въ рѣжтѡ твоѡмѡ (К. Пасх.); Ἰсче ἴδα ἴμι изъ грѡба κλειθρι не возвранѡлетѡ, твоѡ спїсе стрелїенїе, κλειθρι дверей кѡкво возвранїтъ – *Если затвор ада или могилы не препятствует, Спаситель, Твоему приходу, как воспрепятствует затвор дверей?* (Син. Фом. Нед.).

КЛѢТВА – 1: проклятие, хατάρα: Ἰ возлюбїи κλѣтѡс и прїидѡтъ ѡмѡ ... и ѡвлечѡса въ κλѣтѡс ѡкво въ рїзѡс ... – *И избрал проклятие, и оно настигнет его ... и облекся в проклятие, как в одежду ...* (Пс. 108,17-18); 2: проклятие человеческому роду вследствие грехопадения Адама, хατάρα: Ἰ разрѡшївѡ κλѣтѡс дадѡ блгословенїе – *И разрушив проклятие, дал благословение* (Рожд. П. Б.); Клѣтва потребїса, ѡва свѡводїса ... – *Проклятие уничтожено, Ева освобождена* (Всенощ.); Хрѡтѡс ны исклїпїлѡ ѡстѡ ѡ κλѣтѡви, бївѡтъ по насѡ κλѣтѡ (Гал. 3,13); 3: клятвенное обещание, ѡρхωμοσїα: Ονїи во безъ κλѣтѡви сцїенїици бїша, сїи же сѡ κλѣтѡвою чрѡзъ гїгѡлющяго кѡ немѡ: κλѣтѡса гдѡ и не раскѡетѡса: тѡи ѡси свѡщїенникѡ въ вѡкѡ, по чїнѡс мѡлхїседѡковѡс – *Ибо те сделали священниками без клятвы (без обещания), Он же – с клятвой, по тому, Кто сказал Ему: «Клялся Господь, и не раскается: ты священник вовек по чину Мелхиседекову».* (Евр. 7,21).

КНИГА, КНИГЫ – 1: устар.: письмена, буквы, γραμματιν (в ранних списках на месте писменѡ – Лк. 28,38), отсюда: **БЕЗКНИЖНЫЙ** (см.) – безграмотный; 2: письмо; ● **КНИГА РАСПѢТНАА** – разводная грамота, ἄποστασιον: Ἰже Ἰсче пѡстїтѡ женѡ свою, да дѡстѡ ѡй κнїгѡ распѡстїтїю – *Тот, кто разводится с женой, пусть даст ей разводное письмо* (Мф. 5,31); 3: свиток; ● **КНИГА КОЖАНАА** – пергаментный свиток: Φελѡнѡ ... прїнесїи и κнїгї, пѡче же κѡжанѡмѡ (2 Тим. 4,13); ● **КНИГА РОДСТВѡ** (βιβλος γενεσεως) – родословие.

КНИЖНИКЪ – 1: знающий грамоту, ученый, γραμματεύς: Гдѡ премїлѡрѡ; гдѡ κнїжнїкѡ; гдѡ совѡпрѡснїкѡ вѡка сегѡ; (1 Кор. 1,20); 2: знаток Писания, законоучитель: Ἰ соврѡвѡтъ всѡс первѡсвѡщїенникїи и κнїжнїкїи людскїа, воспрѡшѡше ѡ нїхѡ: гдѡ хрѡтѡс рѡждѡетѡса (Мф. 2,4); 3:

военачальник: Постаѡи книжники людеѡи при потоѡцѣ и повелѣ имѣ глагола: не ѡстаѡляйте всакаго человека ѡстатиса въ полицѣ, но да градѣтъ вси на бранѣ (1 Мак. 5,42).

КНАЗЬ — 1: знатный, влиятельный человек, властелин, ἄρχων: Никодимъ имѣ ѡмѣ, князь жидѡвский (Ин. 3,1); Не надѣйтесь на князи (Пс. 145,3); 2: верхнее бревно на воротах (см. ВЗАТИ): Возьмите врата князи ваша (Пс. 123,7).

КОВАРСТВО — 1: хитроумие, лукавство πανουργία: Запннѡи премѣдримъ въ коварствѣ ихъ — Уловляющий мудрых в лукавстве своем (1 Кор. 3,19); 2: нейтрально: Корень премѣдрости комѣ ѡкрыса; и коварства ѡмъ ктѡ разсмѣ — Кому открылся корень премудрости, и хитрости ее кто понял? (Сир. 1,6); Да даѣтъ незлобнымъ коварство Чтобы простым дать хитроумие (смысленность) (Притч. 1,4).

КОВЧЕГЪ — сокровищница, киот, κιβωτός ● **КОВЧЕГЪ** (КИБѢГЪ) ЗАВѢТА находился в скинии и заключал в себе скрижали закона и золотой сосуд (см. РѢЧКА) с манной • **КОВЧЕГЪ** СЛОВЕСНЫЙ (ОУМНЫЙ, ОДЪШЕВЛЕННЫЙ) — именование Божией Матери, также, как РѢЧКА МАННЫ НЕБЕСНОИ

КОВЧЕЖЕЦЪ — ящик, кошелек для хранения денег, γλωσσοβοχονον: Но имѡ тѣтъ въ, и ковчежецъ имѡаше, и вметѡвѡмѡ ношаше — Но поскольку он [Иуда] был вором, и имел [денежный] ящик и носил, что туда опускали (Ин. 12,6).

КОЛѢНО — 1: колено (часть ноги), γόνυ: Видѣвъ же сѡмонъ пѣтрѡ, припадѣ къ колѣнома имѡвѡма (Лк. 5,9); И поклонншесѡ на колѣнѡ предъ нимъ, рѣгѡхъсѡ ѡмѣ (Мф. 27,29); Колѣна моѡ изнемогѡста ѡ постѡ (Пс. 108,24); 2: племя, поколение, μῆρος, φυλῆ: И ѡ всѡхъ колѣнъ нѣбныхъ и земныхъ слѡшнши: Амѡнѡи (КАИС); 3: чье-либо потомство, φυλῆ: И въ анна прорѡчица, дщи фанѡнаева, ѡ колѣна ѡсѡрова (Лк. 2,36).

КОНЕЦЪ — 1: конец (окончание), τέλος: И цѣтѡв ѡгѡ не бѣдетъ конца (Симв. Веры); Красѡта въ десницѣ твоеѡи въ конецъ (Пс. 9,33); Не забѣди оубѡгнхъ твоѡхъ до конца (Пс. 9,33) ● **ВЪ КОНЕЦЪ**, **ДО КОНЦА** — окончательно, в высшей степени; 2: высшая степень, верх, итог, пѣрас: Тѡбѡ же конецъ ѡвѣщѡнѡиѡ прѡѡметъ днѣсь — В Тебе же (Богородице) ныне обещание [спасения] находит свое завершение (К. Бл. (Ф. и Ин. Д.)); 3: цель, τέλος: Конѣцъ же завѣщѡнѡиѡ ѡсть, любѡи ѡ чѡста сѣрдца и совѣсти вѡгѡ, и вѣры немѡцѡмѡрныхъ — Цель же увещевания — любовь от чистого сердца и доброй совести и непритворной веры (1 Тим. 1,5); 4: сокр. форма от **КОНЕЦЪ** ЗЕМЛИ: Рѡдѡсѡ, концѡи надеждѡ — Радуйся, надежда всех концов земли (Отп, гл. 8).

КОНЕЧНЫЙ — совершенный, τέλειος (см. **КОНЕЦЪ**, 2): Да ѡнагѡ любѡвь конечнѡю поѡстрѡитъ — Чтобы его (апостола Фомы) совершенную любовь усилить (Син. Фом. Нед.).

КОНЧѢНА — 1: конец, завершение, то, чем нечто кончается, τέλειος: Терпѡнѡиѡ имѡе слѡшастѣ, и кончѡнѡ гѡднѡ видѣстѣ — Слѡшѡли о терпении Иова, и видели, чем [оно] кончѡлось от Господа (Иак. 5,11); Рѣдѡшѣ со слѡгами видѣти кончѡнѡ — [Петр] сидѣл со слугами, чтобы увидеть, чем это кончится (Мф. 27,57); 2: совершенство: Всѡкѡмъ кончѡнны

видѣхъ конецъ — Я видел крайнее совершенство (Пс. 118,96); 3: смерть: Скажи ми гдѣ кончинѣ моею, и число дней моихъ кое ѣсть, да развѣю, что лишюсь азъ (Пс. 38,5).

КОРЫСТЬ — добыча (военная), οχῦλα: ὅτῳ же крѣпѣй ὅτῳ нашедъ повѣдитъ ὅτῳ, все оружіе ὅτῳ возметъ ... и корысть ὅτῳ раздаетъ — Когда же сильнейший, напав, победит его, все оружие его заберет ... и добычу его раздаст (Лк. 11,22).

КОСНЫЙ — медленный, βραδύς: Скорый въ помощь и косный въ гнѣвъ — Скор на помощь и медлен на гнев; Да вѣдетъ всѣмъ человекъ скорѣ оуслышати, и косенъ глаголати, косенъ во гнѣвъ (Иак. 1,19).

КОСНѢТИ (КОСНЮ) — медлить, χρονίζει: Коснѣтъ гдѣмъ мѣи прійти (Мф. 24,48).

КРАЙНІЙ — высочайший, ἄκρον: Безстрастіе небесное стяжала ѣси, крайнимъ на землѣ житіемъ, мати — Небесное бесстрастие стяжала ты, мати [Марія Египетская], высочайшим житіем на земле (Вел. К. ср., п. 6).

КРАМОЛА — 1: злой умысел, коварство, ἐπιβουλῆ: Не предаждь менѣ крамола змѣнѣ — Не предай меня умыслу змея (Млв); 2: мятеж, бунт, στάσις: Ἴβο вѣдствемъ порицаемъ быти ѿ крамола днѣшней — Ибо нам угрожает обвинение в нынешнем бунте (Деян. 19,40).

КРАСНЫЙ — 1: красивый, прекрасный, καλός: ἴησε мѣи краснѣйшій (КАИС); Восхваляю красное вѣлоупіе (К. Ан. и Арх.); Ἰάκω ραί κα краснѣйшій — (Иисус) более прекрасный, чем рай (Час. Пасх); Союзомъ любви связземаи апѣли ... красны ноги ѡчищахъ, благовѣствующе всѣмъ миръ — Связуемые союзом любви, апостола ... омывали прекрасныя ноги, благовѣствуя всемъ миръ (К. Вел. чт); Пѣти оусердно, твоегѣо маріе житіа краснаа исправленіа — Усердно воспевай прекрасное исполненіе твоего, Марія, житія (Вел. К., ср. п.1); 2: благозвучный, стройный, εὐμόρφος: Уалтиръ красенъ со гѣльми (Пс. 80,3);

КРАСНАА — 1: красоты, утѣхи, земныя блага: Ἴ да не презриши мѣ тлѣнными сопрельщатиса міра сегѣо красными — И не дозволяй мнѣ прельщаться тленными утѣхами міра сего (Млв.); 2: лучшія места: Развѣютъ краснаа пѣстыни (Пс. 64,13).

КРАСОАТИСА (красюса) — блистать, радоваться, τέρω: Ты же чѣла краснѣса вѣе ѡ возстаніи рждѣтва твоегѣо — Ты же радуйся, Чистая Богородица, о воскресеніи Тобой рожденнаго (К. Пасх, п. 9).

КРАСОТА — 1: сладость, блаженство, τερπνότης: Красота въ десницѣ твоей въ конецъ (Пс. 15,11); Ἴ да ничтѣже оусладитъ мѣ ѿ мірскихъ красотъ на славость (Окт. гл. 4, нед. утр., степ); 2: мир, вселенная, строй, устав. κόσμος: Ἴ вѣдевъ солнце и лнѣ и звѣзды и всю красоту небеснѣю, прельстивса, поклонивса ѣмъ (Втор. 4,19); Любоострастными стремленіи погвѣхъ оумѣ красотѣ; ѿмрачнѣ дшвеннѣю красотѣ страстей сластми — В устремленіяхъ къ сластямъ я утратилъ устройство ума. Помрачилъ я душевный строй страстными заблужденіями (Вел. К., пнд. п.2); Красота церковнаа бѣвъ мѣдре нѣколае, всѣкѣмъ мѣ некрасотѣи страстей безчестныхъ извѣви (Окт. гл. 7, чтв., К.Ник., п. 7); ѿ благословенна гдѣмъ землаа ὅгѣо, ѿ красотѣи небесныхъ и росы, и ѿ вѣзднѣ

источниковъ низъ ... (Втор. 33,13).

КРЕСТЪ ИИСУСА – 1: умываться, βαπτίζεσθαι: Φαρισαῖοι же видѣвъ дивиса, ꙗко не прѣжде крестиса, прѣжде ѡбѣда – Фарисей же дивилсѧ, видя, что не умываетсѧ прѣжде еды (Лк. 11,38); 2: креститься, принимать крещение, βαπτίζω: Ἰησοῦς не развѣстѣ, ꙗко вѣлицы во хрѣта ииса крестихомса (Рим. 6,9);

КРИЛО – 1: крыло, πτερόξ: Κόλως κрѣтѣхъ собрати чѣда твоѧ, ꙗкоже собираетъ кокошь птенцы своѧ подъ криль, и не восхотѣте (Мф. 23,37); 2: кровля, πτερόγιον: Ἰησοῦς постави вгдѣ на криль црковнѣмъ – И поместил Его на кровле храма (Мф. 4,6); 3: (перен.) покровительство: Ὡς γὰρ βῆα ἰσραηλῆα, къ немѣже пришла вси оуповати подъ крилома вгдѣ (Рух. 2,12);

КРѢВНЬИЙ – кровавый: Πόροι ἰσχυροὶ ἔστε πρὸς κρῆνῆσιν τῆς χηνῆσιν – (Мученики) иссушили потоки заблуждения истечениемъ крови (Окт. гл.5, пят. утр., К.Кр., п.5).

КРОМѢ – 1: независимо от, помимо χωρὶς: Ἐν τῷ νόμῳ δικαιοσύνησιν – Нынѣ же кромѣ закона правда вѣмъ ꙗвиса – Нынѣ же правосудие (δικαιοσύνη) Божие явилось помимо закона (Рим. 3,21); 2: вне, без: Ἰησοῦς развѣ тебѣ никтоже вѣтъ кромѣ скверны – И нет иного кроме Тебя без скверны (Вел. К., ср. п.5) ● Совр. «кроме» соответствует церковнославянскому **рѣзвѣ** (см.).

КРОМѢШНИЙ – внешний, запредельный, крайний, ἐξώτερος: Ὁ υἱὸς же царствѧ изгнани вѣдетъ во тмѣ кромѣшнюю (Мф. 8,12); Возьмите вгдѣ и вверзите во тмѣ кромѣшнюю (Мф. 22,13); Тмѣ кромѣшнѧ и страшнаго мученѧ, раба твоегдѣ избави мѧ (Окт. гл. 5, пнд., повеч., КПБ, п. 7).

ИСТОЧНИКИ

Указания на источник в словарныхъ статьяхъ отсылают не к изданію (и, соответственно, к страницѣ), но к тексту (и, соответственно, к его частям; так, в каноне обыкновенно указывается пѣсь). Однако и этотъ принципъ нуждается в уточненіяхъ: представленіе о текстѣ церковнославянскоѣ словесности достаточно проблематично, что и отражается в неслѣдовательности нашихъ отсылокъ, в ихъ разномасштабности. В дальнѣйшемъ мы надеемся найти болѣе простую и компактную систему отсылокъ.

Ак. – акафист

Ак.Б.М. (вариант: КАПБ, Ак.Б) – Канон и акафист Пресвятой Богородице. [1; 2]

Библ.Песн – Библейскіе пѣсни, расположенные в концѣ Псалтири [13].

блаж. – блаженны

богор. – богородичен

Вел. веч. – Великая вечерня

Вел.К (вариант: Вел. Кан) – Великій Канон Андрея Критскаго [3].

Вел.Пов – Великое повечеріе [4]

Велич. Ап. – Величание Апостолу [1].

веч. – вечерня

Веч. Вел. Пт. – Последование вечерни во Святыи и Великій

Пяток (с выносом Плащаницы) [5].

Веч. Пт. Св. седм (вариант: Веч. Пят. Свет. седм] -
Вечерня пятницы Светлой седмицы [6]

воскр. - воскресны (Стих. воскр - стихиры воскресны).

Воскр. полун. (вариант: Посл. Пасхи) - Последование
Пасхи [7].

Вост. - восточны (стих. вост. - стихиры восточны)

Всенощ. - Последование Всенощной [9].

Гл глас

ик. - икос

ирм. - ирмос

конд. - кондак

крестовоскр. - крестовоскресный

крестобог. - крестобогородичен

К канон

К.А. (вариант: КАХ) - Канон Ангелу Хранителю [1].

КАИС - Канон и Акафист Иисусу Сладчайшему [1].

К. Ан. и Арх. (вариант: КАА) - Канон Архангелам и
Ангелам [1].

К.Б.Г. - Канон Богоявлению Господню Козьмы Маюмского [2]

К.Б.Рожд (варианты: Рожд. Бог., К.Р.Б.) - Канон
Рождеству Пресвятой Богородицы [2].

К.Бог - Канон Богоявлению Господню [2]

К.Бл. - Канон Благовещенью [2].

К. Вв. (вариант: К. Введ.) - Канон ко Введению Пресвятой
Богородицы [2].

К. Вел. Пт. (Дам) - Канон Пятидесятнице св. Иоанна
Дамаскина [2]

К. Вел. Сб. - Канон Великой Субботы [2].

К. Вел. Чт. - Канон Великому Четвергу [2].

К. Воздв. - Канон Воздвижению Святого Честного и
Животворящего Креста Господня [2].

К. Воскр. (Дам) - Канон Воскресению Господню Иоанна
Дамаскина [11].

К. Всем. Св. - Канон Всем Святым [1].

К. Возн. (Ис. П.) - Канон Вознесению Господню Иосифа
Песнотворца; (К. М.) - Козьмы Маюмского [2].

К. Преобр (вар. К. Пр) - Канон Преображению Господню

КИП - Канон святому Иоанну Предтече [1].

К. Кр. - Канон Кресту [1].

КМПБ - Канон Молебный Пресвятой Богородице св. Козьмы
Маюмского [2].

К. Ник (варианты: К. Ни кол, КАН) - Канон и акафист
Святителю Николаю [1]

Конд. Свят - Кондак Святителю.

КПИ Канон Покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу

К. Пр. - Канон Преображению Господню [2].

К. Преп - Канон Преполовлению Пасхи [2].

К. Пт (вариант: К. пт) - Канон Великой Пятнице [2].

КРБ - Канон Рождеству Пресвятой Богородице св. Андрея

Критского.

КРГ (Маюм) – Канон Рождеству Господню Козьмы Маюмского.

Крестобог. – Крестобогородичен.

К. Тр. – Канон Пресвятой Троице [6].

К. Усп. (вариант: КУПБ) – Канон Успению Пресвятой Богородицы [2].

Л. Зл. (вариант: Лит. Зл) – Божественная литургия Иоанна Златоустого [8;9].

М. – молебен

млв. – молитва

М. Пов – Малое Повечерие

М. к Пр (варианты: М. перед Прич; Прич., Посл. к Пр.) – Последование ко Святому Причащению [1] (вариант: Молитвы ко Святому Причащению [7]).

Млв., Млтв – Молитвослов православный [7].

М. по Пр. (вариант: М. после Пр.) – Молитвы по Святом Причащении [1;7].

М. Утр (вариант: М. У.) – Молитвы утренние [7].

муч. – мученичен

мал. веч. – малая вечерня

Муч. Фом. нед – Мученичен Фоминой недели

Окт – Октоих. Дальнейшие указания: глас, день недели, вид службы, род песнопения.

Отп. гл. 8 – Отпуст, глас 8 [4].

повеч. – повечерие

под. – подобен

Под. чт. 3 нед – Подобен в четверг 3 нед. по Пасхе [11].

пол. – полунощница

Пол. Повс – Полунощница повседневная [4].

Погр. мл. – Чин погребения младенца [10]

Пс. Символ – Символ, рекше исповедание во святых отца нашего Афанасия, патриарха Александрийского [13].

свет. – светилен

Свет. Вел. Пт – Светилен Великой Пятнице [11].

сед. – седален.

Симв. Веры – Символ Веры [7-9].

син. – синаксарь

Син. Возн (вариант: Синакс. Возн) – Синаксарь Вознесения [6].

Син. Пасхи (вариант: Синакс. Пасхи) – Синаксарь Пасхи [6].

Син. нед всех св. – Синаксарь в Неделю всех святых [6].

Син. Фом. нед. – Синаксарь Фоминой Недели [6].

степ. – степенны

стих. – стихира

Стих. Воскр – Стихиры Воскресные [11].

Стих на стихов. – Стихиры на стиховне

Стих. Пн. Н. Мир. – Стихиры в неделю жен Мирносиц. Понедельник [11].

Стих. под. Бог. – Стихиры на подобных Пресвятой Богородице [11].

Стих. Пят. – Стихиры Пятидесятнице [11].

- Стих. Фом. нед. - Стихиры Фоминой недели
 Стих. Хвал. - Стихиры на хвалитех [11].
 Т.Вос. (вариант: Тр. Воск.; Шп. Воск.) - Тропари
 Воскресные (Отпустительные Воскресны) [4].
 Треб. - Требник [10].
 гр. - троичен
 Трип. Вел. Пн. - Трипеснец Великого Понедельника [2].
 Трип. Вел. Ср. - Трипеснец Великой Среды [2].
 Троп. - тропарь.
 Троп. Благ. (вариант: Тр.Благ) - Тропарь Благовещения
 Пресвятой Богородицы. [7].
 Утр - Последование утрени [4].
 Утр. Вел. Пт (варианты: У.Вел. Пт.; В.Чт.(12 Ев.) -
 Последование святых и божественных страстей Господа нашего
 Иисуса Христа с чтением 12 Евангелий (Утренняя Великой Пятницы,
 совершаемая в четверг вечером) [5].
 Утр. Вел. Сб. (вариант: У. Вел.Сб.) - Последование утрени
 во Святую и Великую Субботу (Погребение) [5].
 Час (1,3,6,9) Час первый (третий, шестой, девятый) [4].
 Час. Пасх - Часы пасхальные [1]

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Канонник. М., 1986.
2. Е.И.Ловягин. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. СПб., 1875.
3. Великий Канон Андрея Критского. Jordanville, 1966.
4. Часослов. Белград, 1967.
5. Службы Великого Пятка и Великой Субботы страстной седмицы. Paris, 1990.
6. Пентикостарион (Цветная триодь). М. 1882.
7. Молитвослов православный. South Canaan (U.S.A.), 1975.
8. Die Göttliche Liturgie der Orthodoxen Kirche Deutsch - Griechisch - Kirchenslawisch. Mainz, 1989.
9. Служебник. М., 1977.
10. Требник. М., 1979.
11. Октоих, сиречь осмогласник. М., 1906.
12. Библия, сиречь книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. 1914.
13. Псалтирь. М. 1906.

Продолжение следует.

Оригинал-макет этого материала изготовлен в Синодальной библиотеке Московского Патриархата.



БЕСЕДА С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

Первоначально я был намерен рассмотреть трактовку Пастернаком тематики человеческой жизни во всей ее полноте, начиная со сборника ранних стихов, «Сестра моя жизнь», и вплоть до романа, написанного в зрелые годы, и поздних стихотворений, собранных под названием «Когда разгуляется», прослеживая при этом, в особенности, развитие поэта от изящной, но поверхностной непрозрачности ко все более доступной, хотя тем не менее глубокой простоте выражения. Однако по различным соображениям¹, решил вместо этого рассказать о своих собственных впечатлениях и воспоминаниях о моей единственной личной встрече с Борисом Леонидовичем, состоявшейся 30 августа 1959 г., т. е. менее чем за год до его смерти. Конечно, мне хорошо известно, что есть люди, которые были в близких личных отношениях с Пастернаком и поэтому могли бы рассказать гораздо больше и, несомненно, интереснее, чем я, именно о том, какую роль в их жизни сыграл Борис Леонидович Пастернак. Все же я надеюсь, что кое-что из изложенного здесь будет небезынтересным и для тех, кто был близок большому русскому поэту и писателю, а также для ученых, занимающихся его жизнью и художественным наследием и анализирующих его тексты.

В нескольких газетных статьях, опубликованных в западногерманской и скандинавской печати [2 — 4]², вскоре после моего визита к Пастернаку на его даче в Переделкине я сообщил часть того, о чем мы тогда с ним говорили, но, конечно, я в то время не мог писать обо всем сказанном, принимая во внимание политическую ситуацию тех дней и, кроме того, личное положение поэта, его семьи и близких ему людей. Впрочем, во время нашего разговора сам Пастернак просил меня не писать сразу обо всем, о чем мы говорили. Вот почему мне кажется оправданным сегодня, через тридцать лет после смерти писателя, и в связи с прошедшей недавно

¹ Бирнбаум Хенрик — профессор Калифорнийского университета.

² Одной из причин того, что я отказался от хотя бы сжатого анализа текста сборника «Сестра моя жизнь», является выход из печати книги К. Г. О'Коннор [1], содержащей целый ряд наблюдений, с которыми я вполне соглашаюсь — в основном, с положением о том, что серия стихотворных циклов составлена автором для того, чтобы создать впечатление повествования в поэтическом виде и с лирической нотой, которое, поэтому, нет надобности здесь повторять и доказывать. Что же касается романа «Доктор Живаго» (включая и «Стихотворения Юрия Живаго»), то о нем существует уже целая литература, в том числе и несколько моих исследований, так что я не считал целесообразным еще раз обсуждать соотношение главной, по-моему, его тематики с языковыми средствами и стилистическими приемами ее изображения, т. е. в отрыве от трактовки автором той же тематики в более ранних его произведениях.

² Мое интервью с Пастернаком впоследствии было перепечатано (и переведено) еще, например, в газете «Information» (Копенгаген).

столетней годовщиной со дня его рождения, а также ввиду того, что и мне сейчас уже шестьдесят с лишним лет, рассказать более подробно о нашей тогдашней встрече и беседе.

В то время я был молодым доцентом Стокгольмского университета, незадолго до того прочитавшим роман «Доктор Живаго». Прошло только десять месяцев с того времени, как Пастернак был вынужден (по его словам, он принял это решение сам и не сразу, когда его хотели заставить это сделать) отказаться от Нобелевской премии, которой был награжден Шведской Академией 23 октября 1958 г. и которую (медаль, не деньги) лишь недавно мог принять его сын, Евгений Борисович.

Приехав из Швеции в Москву, я направился к своему другу, В. Вс. Иванову, дача родителей которого находилась рядом с дачей Пастернака в Переделкине. Увидев в саду пастернаковской дачи нескольких молодых людей, игравших в пинг-понг, я вошел в сад, подошел к дому и начал подниматься по лестнице. Меня встретила жена поэта, Зинаида Николаевна, к которой я обратился с вопросом, дома ли Борис Леонидович. «Его сейчас нет, — ответила Зинаида Николаевна, — он вернется только через несколько часов», очевидно убежденная в том, что я уйду и не буду ждать так долго. Но я ответил, что мне очень жаль, потому что я приехал из далекой Швеции специально с целью посетить Бориса Леонидовича, и что буду рядом у соседей, у Вячеслава Всеволодовича, и зайду еще раз через несколько часов. Я отлично знал, что Пастернак не так давно принимал моего шведского приятеля и коллегу Нильса Ока Нильссона, а также шведского писателя и журналиста Эрика Мэстертона³. В ответ госпожа Пастернак сказала: «Ах, вы из Швеции приехали и будете у Ивановых? Но неужели вы не знаете, что Борис Леонидович вообще больше не принимает иностранцев?» «Конечно, знаю», — ответил я дерзко, но не совсем правдиво. «Ну, тогда подождите минуточку». И на самом деле через две-три минуты Борис Леонидович появился, взглянул на меня сначала немножко подозрительно, но потом сразу подал мне руку, сердечно приветствовал и попросил меня сесть с ним не внутри дома, где, очевидно, нельзя было свободно говорить, а на террасе. Еще когда я ждал Бориса Леонидовича, я заметил, между прочим, что мальчик — очевидно, внук поэта — держал в руках русский перевод книги Сельмы Лагерлеф «Gösta Berlings Saga» («Сага о Гёсте Берлинге»). «Какое совпадение! — сказал отец мальчика — это, кажется, как раз для нашего шведского гостя».

Я постараюсь как можно точнее реконструировать, по крайней мере в главных чертах, содержание нашей беседы с Пастернаком. У меня есть запись, сделанная сразу после нашего разговора (но уже в Швеции), частью которой я и воспользовался, когда писал вышеупомянутые газетные статьи о нашей встрече. Я пробыл у Бориса Леонидовича часа три-три с половиной, однако он в конце нашего разговора попросил меня, чтобы я, если буду писать «на Западе» о нашей встрече, упомянул, что был у него очень недолго. Очевидно, он отдавал себе отчет в том, что в то время советские власти еще строго стерегли его дом и его гостей.

Не зная, разумеется, что он, по всей вероятности, уже тогда был серьезно болен, я из вежливости сначала спросил Бориса Леонидовича о его здоровье, на что он ответил, что, ничего, чувствует себя совсем неплохо, и что трудные и тяжелые переживания последнего времени, к счастью, не отразились на состоянии его здоровья. «Я и теперь прогуливаю несколько часов почти каждый день, — добавил Борис Леонидович. — С другой стороны, в Москву я попадаю довольно редко».

³ Работы Нильссона о Пастернаке достаточно многочисленны и хорошо известны для того, чтобы их здесь лишний раз перечислять. Впечатления Мэстертона о визите Пастернака сообщены в его статье [5] и перепечатаны в книге [6].

Потом я спросил, чем он в последнее время в основном занимается, упомянув о том, что на Западе некоторые думают, что он теперь занят переводом какого-то произведения индийского писателя и философа Рабиндраната Тагора. «Нет, это не точно,— ответил Борис Леонидович.— Знаете, что касается переводческой работы, то я в последнее время взялся за пьесу Юлиуша Словацкого, написанную в духе Шекспира, „Мария Стюарт“⁴. «Я очень обязан польским коллегам,— добавил Пастернак,— так как среди всех писателей социалистических стран они одни, в особенности Антоний Слонимский (тогдашний председатель польского союза писателей.— Х. Б.), высказали положительное мнение обо мне даже теперь, когда меня травят. Они и дальше поддерживают меня⁵. Кроме того, я сейчас занят новым произведением — опять в прозе, но на этот раз это будет пьеса, драма. Действие происходит в прошлом столетии, но я и теперь пишу, главным образом, для себя самого — это единственный способ обновить себя, понять самого себя»⁶.

После этих вводных вопросов и ответов мы стали говорить о самом главном предмете нашей беседы — о романе «Доктор Живаго» и его судьбе внутри и вне Советского Союза. Сначала, и как мне теперь кажется, немного наивно, я спросил Пастернака, думает ли он, что ему разрешат опубликовать свой роман в Союзе. Он ответил, что и в самом деле надеялся, что его книга, может быть, разделит судьбу романа Льва Толстого «Воскресенье», который вышел в двух вариантах — одном, несокращенном, за рубежом и втором, допускаемом цензурой, в России. Во время нашей беседы у Пастернака даже не было, как он уверял меня, экземпляра русского издания его книги (вышедшей, как известно, впервые в Милане), а шведский перевод привез ему я.

Так как еще в Швеции до меня дошли слухи о том, будто существует прототип Лары в действительности — я тогда еще не знал об Ольге Ивинской или, во всяком случае, слышал о ней только что-то довольно неопределенное (и, конечно, не одна она служила прототипом Лары)⁷ — я, признаюсь, немного бестактно спросил Бориса Леонидовича об этом. Избегая прямого ответа, он мне ответил: «Знаете, у всякого человека есть в жизни тайны, о которых только он знает и которые он и унесет с собой в могилу. Есть вещи, с которыми каждый должен справиться сам, без других, хотя бы для того, чтобы не принести боль близким нам людям». Я понял, что ему не хотелось больше об этом говорить и не настаивал на продолжении разговора на эту тему. Так как я незадолго до знакомства с «Доктором Живаго» прочитал роман Т. Манна «Doktor Faustus», вышедший в 1947 г., и мне казалось, что есть известные параллели между этими двумя сочинениями (спустя много лет я написал маленькую книжку, в которой сопоставляю и сравниваю оба романа) [9], я спросил автора «Доктора Живаго», знает ли он роман Т. Манна и не повлиял ли он каким-то образом на его книгу и, вообще, что думает он о книге немецкого писателя. Конечно, задавая этот вопрос, я отлично знал, что Пастернак, переводчик «Фауста» Гете и «Марии Стюарт» Шиллера и бывший студент Марбургского университета, вполне владеет немецким языком и свободно читает на нем. Как я уже писал в названной книге [9, S. 8], Пастернак подтвердил,

⁴ Лишь в 1956 г. Пастернак закончил перевод драмы Шиллера с тем же заглавием, которая и была поставлена в Москве. По правде говоря, я не знаю, как Пастернак мог перевести текст прямо с польского, так как он, насколько мне известно, не владел этим языком в отличие от английского, немецкого и французского. О том, в какой мере переводческая работа занимала и заполняла, в известные периоды жизни, русского поэта, недавно напомнил нам Вяч. Вс. Иванов в воспоминаниях о Борисе Леонидовиче [7] по поводу 100-летия со дня рождения поэта.

⁵ Подробности см. в [8].

⁶ Речь, очевидно, шла о незаконченной Пастернаком пьесе «Слепая красавица», хотя в нашей беседе он не называл ее.

⁷ Ср. [9, S. 28—29] и указанную там литературу.

что знает книгу Т. Манна, очень ее ценит, хотя она и основана на — как он сказал — весьма отличном жизненном опыте. «Да, его роман произвел на меня очень сильное впечатление», — сказал Пастернак и добавил, воспользовавшись известной фразой Пушкина, «ведь мы с ним писали свои книги „во мраке заточенья“»⁸. Однако Борис Леонидович ни словом не упомянул о том, что роман Т. Манна имел какое-то прямое влияние на его роман или что он в нем видит, как бы сказали сегодня, своего рода подтекст или даже интертекст «Доктора Живаго».

В тот же день, когда я был у Пастернака в Переделкине, Н. С. Хрущев был в гостях у М. Шолохова в его казацком селе Вешенское на Дону, оказав ему таким образом большую честь, о чем, конечно, много писали в советских газетах. Поэтому, зная, что еще в конце октября 1958 г. Пастернак отправил письмо первому секретарю КПСС, в котором он умолял Хрущева не высылать его из Советского Союза, я спросил Бориса Леонидовича, думает ли он, что Хрущев читал его роман и имеет свое мнение о нем. На это Пастернак ответил весьма иронически, что он сомневается в том, что Хрущев читал его книгу. «Я не думаю, что у него достаточно времени и, вдобавок, интереса для того, чтобы он сам прочитал мое сочинение». Он был действительно прав: в своих воспоминаниях Хрущев упоминает о том, что он, к сожалению, прочитал роман Пастернака только после отставки.

Я справился о том, правда ли, что Пастернак уже не очень высоко ценит свои ранние произведения — стихотворения и лирические повести и рассказы⁹. Пастернак ответил: «Ах, люди еще помнят эти мои ранние вещи? Да, я рад, что мой роман не совсем затенил все то, что я раньше написал. Но, по правде, мне кажется, что этот период безвозвратно ушел. Так уже невозможно писать сегодня, в наши дни. Кроме того, я хочу писать так, чтобы меня все понимали, все могли читать». В этой связи стоит отметить, что, хотя Пастернака многие считают одаренным и даже, более того, гениальным поэтом, создававшим, правда, поэзию и стихотворную, и прозаическую (как указал несколько лет тому назад Д. С. Лихачев [11]), он сам довольно рано, уже с 1919 г., предпочитал говорить о себе, как о прозаике. Заполняя в марте 1919 г. анкету московского профсоюза писателей, Пастернак на вопрос «Пишете ли Вы помимо стихов художественную прозу?» ответил: «Да; и в последние два года *главным образом* — прозу» (курсив Пастернака. — Х. Б. [10, с. 409—410])¹⁰. Не совсем неожиданно поэтому на мой, опять довольно наивный, вопрос, кого он считает самыми большими мастерами художественной речи на русском языке,

⁸ Цитируется первая строка четвертой строфы стихотворения Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье»).

⁹ Ср. в этой связи отрывок из письма, написанного Пастернаком отцу еще 25 декабря 1934 г.: «А я, хотя и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал. Но, по счастью, я жив, глаза у меня открыты, и вот спешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэта — пушкинского. Ты не вообразил, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе понятие о внутренней перемене» (цит. по: [10, с. 7]).

¹⁰ См. далее и высказывание Пастернака в пользу прозы, цитированное в [8, р. 348]. Там же американский ученый и пишет, что, так как метонимия — главный принцип поэтического стиля Пастернака, естественно, что он выбрал прозу, а не стихотворную поэзию своим главным способом творческого писания. Однако, в этой связи, не надо забывать и о том, что Р. О. Якобсон в своих знаменитых «Заметках о прозе поэта Пастернака», впервые опубликованных (на немецком языке) в 1935 г. и анализирующих прозу Пастернака вплоть до «Охранной грамоты» (1931), говоря о прозе настоящих поэтов, таких, как Пастернак (которого он упоминает вместе с Пушкиным, Махой, Лермонтовым, Гейне и Малларме), пишет, что «мы не можем удержаться от некоторого изумления перед тем, с каким совершенством овладели они вторым языком; в то же время от нас не ускользает странная звучность выговора и внутренняя конфигурация этого языка. Сверхающие обвалы с горных вершин поэзии рассыпаются по равнине прозы» [12, с. 324].

Пастернак ответил: «Самый большой наш поэт и писатель — это, конечно, Пушкин. Но я лично на второе место поставил бы Чехова. Он писал так просто и естественно, и получается впечатление, что люди в его пьесах и рассказах говорят — или говорили — именно так, как действительно говорит настоящий человек в указанных условиях». Я должен добавить, что, хотя я знал о том, как высоко Пастернак ценил стихи Блока или Маяковского, а также прозу Л. Толстого и Достоевского, он о них ни словом не упомянул в нашем разговоре.

В заключение еще несколько слов об отношении Пастернака к еврейскому вопросу, о чем, как известно, уже очень много написано — в связи и с его глубоко христианской, православной верой, и с его собственным еврейским происхождением, которого он, конечно, никогда не скрывал. В нашей беседе о романе речь шла и об этом — главным образом, потому что я был несколько удивлен некоторыми наблюдениями и высказываниями в романе на этот счет. Однако, хотя я ко времени нашей беседы и слышал отрицательные замечания по этому поводу со стороны некоторых моих еврейских друзей (в первую очередь в Швеции), я тогда еще не знал, например, о возмущенной реакции премьер-министра Израиля Д. Бен-Гуриона, назвавшего «Доктора Живаго» «одной из самых отвратительных книг когда-либо написанных человеком еврейского происхождения» (ср., например, [8, р. 330]). Общеизвестно, что Пастернак был решительным антисоциалистом. Он утверждал, что был крещен еще совсем маленьким ребенком своей кормилицей, не осознавал себя евреем не только в детские и юношеские годы (ср. в особенности [13]), но и во взрослом возрасте (несмотря на то, что одним из его наиболее влиятельных учителей был марбургский философ-неокантианец, еврей Г. Коэн). Он не изменил своих взглядов даже после уничтожения евреев гитлеровцами и создания израильского государства¹¹. В известном смысле эта позиция отражала его собственный жизненный опыт — как русского человека (которым он несомненно себя ощущал) и русского поэта, и к тому же, верующего христианина. На мой вопрос, не думает ли он, что в некоторых еврейских кругах слова, высказанные в его романе Мишей Гордоном («Назревшие неизбежности») и, особенно, последние строки: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас» [10, с. 102] — могут быть обидными, по крайней мере, для многих гордых своим еврейством людей, Борис Леонидович ответил, на мой взгляд, весьма наивно, но откровенно: «Как же это может быть? Ведь я только высказал то, что искренно чувствует подавляющее большинство евреев, во всяком случае, у нас, в России. А то, что я, конечно, осуждаю всякого рода преступления и эксцессы против евреев, и, в частности, в нашей стране, совершенно ясно вытекает из предшествующей сцены» (т. е. сцены, описанной в той части романа, где молодой казак «для смеха» заставляет старого еврея ловить медный пятак.— Х. Б.). Мне, после этого ответа, стало неловко и мы перешли к другим темам, уже не связанным с романом Пастернака.

Говорили еще о Швеции, где Пастернак никогда не бывал, но которую, как он мне сказал, очень хотел бы посетить, особенно теперь, после награждения Нобелевской премией. В частности, речь шла о шведских и

¹¹ Что же касается утверждения, что отец поэта испытывал симпатии к сионизму, как думает американский литературовед Д. Гибиан [14], исходя из книги Леонида Пастернака [15], то этому противоречит не только утверждение его дочери Лидии Пастернак-Слэйтер (сделанное в письме 1961 г.), что в семье Пастернаков никто не был сионистом, но также острое возражения сына поэта, Евгения Пастернака [16]. Совсем другое дело, что Л. О. Пастернак, как он сам писал, «никогда не позволил бы себе и думать о крещении в корыстных целях» [14, с. 105].

награждения Нобелевской премией. В частности, речь шла о шведских и других скандинавских писателях. Я спросил, кто его любимые скандинавские писатели, и он назвал трех — для меня тогда немножко неожиданных: среди шведов — Сельма Лагерлеф (по-видимому, «Gösta Berlings Saga» в русском переводе в руках мальчика — это был его выбор), среди норвежцев — Кнут Гамсун (о прогитлеровских симпатиях которого Пастернак, видимо, не был осведомлен), среди датчан — Йенс Петер Якобсен, главный роман которого, «Niels Lyhne», Пастернак прекрасно знал и высоко ценил, что для меня тогда казалось не совсем понятным, в особенности потому, что Якобсен, по крайней мере, под конец жизни был полным отчаяния атеистом, в то время как Пастернак в последние годы жизни, как известно, был верующим, убежденным христианином и, следовательно, надежда была частью его мироощущения. Только недавно, после ознакомления с работами профессора Стокгольмского университета П. А. Йенсена о Пастернаке и Якобсене и, в особенности, с его сравнением двух романов этих больших писателей, я, думаю, лучше понимаю сходство между ними. О Гамсуне мы не говорили много, и я уже не помню, упомянул ли Пастернак его романы «Sult», «Pan», «Victoria» или «Markens grøde», которые в моей молодости произвели на меня особое впечатление и некогда пользовались известной популярностью и в России. Что же касается Сельмы Лагерлеф, которую, впрочем, и я всегда высоко ценил, — я точно помню, что Борис Леонидович, кроме «Gösta Berlings Saga», прежде всего назвал большой роман «Jerusalem», повествующий о шведской секте, переселившейся в Святую Землю в прошлом столетии, а также рассказы сборника «Kristuslegenden» как те ее книги, которые ему особенно понравились.

Этим и кончаются мои воспоминания и записи о встрече с Б. Л. Пастернаком¹².

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O'Connor T. Boris Pasternak's. «My Sister — Life». The Illusion of Narrative. Ann Arbor, 1988.
2. Süddeutsche Zeitung, 1959, 14 IX.
3. Tagesspiegel, 1959, 17 IX.
4. Expressen, 1959, 27 IX.
5. Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning, 1958, 24 X.
6. Maesterton. E. Spenglingar. Essäer, brev, översättningar. Uddevalla, 1985, s. 99—103.
7. Литературная газета, 1992, 31 I.
8. De Mallac G. Boris Pasternak. His Life and Art. Norman, 1981, p. 238, 395.
9. Birnbaum H. Doktor Faustus und Doktor Schiwago, Versuch über zwei Zeitromane aus Exilsicht. Lisse, 1976.
10. Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. М., 1989.
11. Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Т. 3. Л., 1987, с. 359—372, 379—398.
12. Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
13. Barnes S. Boris Pasternak, A Literary Biography, v. 1: 1890—1928. Cambridge, 1989, p. 13, 27—28, 32—33, 78, 142, 313.
14. Гибиан Дж. Леонид Пастернак и Борис Пастернак: Полемика отца и сына. — Вопросы литературы, 1988, № 9, с. 104—127.
15. Пастернак Л. О. Рембрандт и еврейство в его творчестве. Берлин, 1923.
16. Пастернак Е. Б. Письмо в редакцию. — Вопросы литературы, 1988, № 12, с. 248—254.
17. Times Literary Supplement, 1990.

¹² После того, как мои воспоминания были уже написаны, мне пришлось познакомиться с рецензией Г. Йосиповичи, напечатанной в литературном приложении к «Таймсу» [17, 9—15 П] на три новейших биографии Пастернака — Кр. Барнса, Е. Пастернака (в английском переводе) и П. Леви, а также на два новых перевода его избранной поэзии и «Автобиографического очерка». Я должен сказать, что в основном соглашаясь с выводами рецензента по поводу отношения Пастернака к евреям (проиллюстрированного добавочными цитатами из «Доктора Живаго») и к собственному происхождению, я не разделяю его уверенности в том, что вторая жена автора, Зинаида Николаевна, послужила одним из главных прототипов для Лары в романе (при всей похожести ранней судьбы). Я также не могу согласиться с мнением рецензента о том, что касается качества пастернаковских стихов. Таким образом, я гораздо ближе к мнению авторов откликов на рецензию Г. Йосиповичи (И. Берлин и Х. Гиффорд), опубликованных в [17, 16—22 П, p. 171].



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

D. PAVLIČEVIĆ. Hrvatske kućne zadruge, T. 1 (do 1881). Zagreb, 1989, 368 s.

Д. ПАВЛИЧЕВИЧ. Хорватские домашние задруги. Т. 1 (до 1881)

Вряд ли в истории социальных институтов многих славянских народов есть тема, более затрагивавшая умы, чувства и интересы ученых, публицистов, писателей XIX — начала XX в., чем судьба традиционных форм землевладения и соответствующего социального быта и правового положения крестьянства. Это было связано с кризисом данных форм в эпоху формирования буржуазного общества. В России такое место занимал вопрос о сельской общине, у большинства южных славян (исключение составляют словенцы) — о «большой семье», «семейной» или «домашней» общине — задруге. Хорватский историк Д. Павличевич, рассматривающий задругу в социально-бытовом, экономическом и юридическом аспектах, характеризует её так: это «домашняя древняя патриархальная институция, состоящая из нескольких семей и поколений... равноправное сообщество, которому присущи совместные проживание, труд, автаркичное производство и потребление на основе общей собственности. Руководит задругой избранный демократическим путем старейшина (или домохозяин.— В. Ф.), а управляет — собрание всех взрослых полноправных членов» (с. 23).

Задруга, прежде всего у сербов и хорватов, привлекала внимание этнографов, демографов, статистиков, историков, экономистов, социологов, к ней обращались, пытаясь предугадать национально-политические судьбы своего народа (имели место даже утверждения, что распад задруг означал бы гибель нации). Брошюры, статьи, письма в разных изданиях печатались дворянами-помещиками, чиновниками (часто — юристами), представителями

духовенства, а также иностранными авторами. В архивах сохранились предназначенные властям записки и законопроекты, проблема обсуждалась в хорватском представительном собрании (саборе).

Все эти разнородные материалы позволили Д. Павличевичу создать научный труд, которому предстоит долгая жизнь. Хронологические рамки тома (до 1881 г.) определяет дата воссоединения территории демилитаризованной Хорватско-славонской Военной границы с Хорватией-Славонией (после чего хорватское и сербское крестьянство обеих указанных хорватских земель оказалось в пределах одного политического организма в составе Венгерского королевства, части Австро-Венгерской монархии). Монографическое исследование судьбы задруги во всех хорватских землях — задача чрезмерно большая для одного труда, и рецензируемая книга посвящена задруге на территории так называемой гражданской части страны — Хорватии-Славонии.

Д. Павличевич отмечает, что в средневековых документах о задруге сведений почти нет. Феодал был заинтересован в крестьянских повинностях, а застойный быт крестьянина подразумевался сам собою. Поэтому о задруге было известно мало. Неясно время ее зарождения. Задруга стала привлекать внимание в эпоху распада феодальных отношений, и тогда была высказана догадка, что она была создана феодальными землевладельцами, так как обеспечивала имение работниками и облегчала управление. Другая, более распространенная, теория рассматривала задругу как проявление исконного коллективистского духа славян, а задружный быт — как специфическую форму землепользования, а затем и земельной собственности, противостоящую «германской» частной собственности и навязанному славянам извне феодальному строю.

Стихийный распад задруг, начавшийся уже при феодализме (до 1848 г.) и в основном завершившийся в Хорватии к началу XX в., явился одним из наиболее важных социальных процессов в деревне. Его значение и наследие ощущались до середины XX в. Поэтому автор намерен продолжить свое исследование до 1918 г., а затем и до 1941 г.

Книга состоит из пяти разделов: историко-теоретический обзор; «о домашних задругах в целом» (здесь рассмотрены типы задруг, их устройство, отражение проблемы в хорватской художественной литературе, а также в сочинениях К. Маркса, Ф. Энгельса и других социалистов и, наконец, в записках инозем-

цев); третий — пятый разделы содержат историю рассмотрения проблем задружного быта и его распада (включая законодательство) в периоды неоабсолютизма (1850—1860), конституционных реформ (1861—1867) и в начале эпохи дуализма (1868—1880), когда победила либеральная тенденция в законодательстве, стимулировавшая распад задруг.

Одного перечисления разделов достаточно для того, чтобы убедиться, что в рецензии нет возможности даже кратко рассказать о богатом содержании труда. Поэтому остановимся лишь на некоторых моментах. Чрезвычайно важными и интересными в первом разделе являются примеры идеализации задруг некоторыми публицистами и политическими деятелями XIX в. По их мнению, задруги обеспечивали крестьянству патриархальный лад и мир. Сторонники этого взгляда обращали внимание на определенную реальную социальную функцию задруги, которая поддерживала нетрудоспособных и стариков. Вместе с тем вопреки фактам они утверждали, что задруга спасает народ от нищеты и «пролетариата», этого бича тогдашней Западной Европы, а некоторые с удовлетворением отмечали, что «у нас нет промышленности» и поэтому при сохранении задружного быта южным славянам «не грозит коммунизм и социализм». Чем позднее, тем чаще в пользу задруг привлекался аргумент и из области национальных отношений. Дело в том, что часть крестьян из распавшихся задруг быстро беднела и продавала землю, а среди покупателей были венгры, немцы и другие, в связи с чем в Хорватии, в начале XIX в. почти сплошь югославянской, доля представителей других народов росла (хотя и не быстро).

От доказательств преимуществ задружного быта было недалеко до попыток законодательным путем затруднить распад задруг. Сторонниками их сохранения в 50—60-е годы XIX в. являлись как некоторые представители консервативной аристократии, так и публицисты-романтики, — и те, и другие — люди от крестьянина далекие, «теоретики» (идеологи), как их охарактеризовала одна газета. (В целом, однако, класс крупных землевладельцев после 1848 г. все определеннее отстаивал «либеральную» политику в отношении задруг, так как крайне нуждался в батраках.) Лица же, непосредственно наблюдавшие задружный быт после 1848 г., в частности, сель-

ские священники, отмечали, что внутри задруг нарастают противоречия и раздоры, имеют место злоупотребления со стороны старейшин, воровство, положение женщин унижительно, производительность труда в задружных хозяйствах ниже, чем на участках, находившихся в личной собственности (в задругах каждый работал по наряду, но члены задруг на самостоятельно заработанные средства могли приобретать землю и имущество, а это уже являлось элементом начинающегося распада общего хозяйства), что существование задруг тормозит развитие промыслов. Все это разнообразие мнений интересно и ярко изложено в книге.

Добавим, что с 1848 г. избирательным правом пользовался только глава задруги, что стало одним из многих проявлений сохранившегося после отмены феодальных отношений сословного неравноправия крестьянства.

Все сказанное, по-видимому, дает основание для вывода о том, что «даваемое Павличевичем определение задруги, приведенное выше, скорее отражает ее «идею», формальный статус, сам же задружный быт был трудным для массы крестьян, особенно для активных и предприимчивых.

В условиях развивавшихся товарно-денежных отношений и (хотя и медленного) формирования в Хорватии буржуазного общества задруга была обречена на исчезновение. Лучшее всего об этом свидетельствует отношение к ней тех, кого данная проблема касалась более всего — самих крестьян. Все попытки законодателей и властей (до 1870 г.) законсервировать задругу или по крайней мере задержать ее распад¹ вызывали негодование большинства крестьянства. Если легально заменить задругу самостоятельными хозяйствами было трудно, задруги делились тайно.

Процесс распада задруг стал подлинной драмой крестьянства Хорватии, так как сопровождался междоусобицами, подчас тяжелыми и длительными. Однако иного пути к прогрессу не было. Буржуазное общество рождалось в муках, но легче преодолеть их можно было, лишь расчищая путь к свободе крестьянина, а не загромождая его осколками старого.

Обещанный Д. Павличевичем двух- или трехтомник станет крупным вкладом в историческую науку. Начало этому уже положено.

Фрейдзон В. И.

¹ В этом особенно усердствовали власти Военной границы, так как задруга служила основой военно-феодальной системы.

ДВА МНЕНИЯ ОБ ОДНОЙ КНИГЕ

Общение литератур. Чешско-русские и словацко-русские литературные связи XIX—XX вв. М., 1991, 226 с.

Рецензируемое коллективное исследование под редакцией С. Никольского, Л. Будаговой и Н. Шведовой, выпущенное Институтом славяноведения и балканистики РАН и посвященное чешско-русским и словацко-русским литературным отношениям XIX—XX вв. продолжает весьма солидный ряд трудов, выходивших на протяжении последних десятилетий и анализировавших все новые сегменты силового поля взаимного тяготения литератур трех родственных народов.

В статье «Литературные связи эпохи национального возрождения. Общие тенденции» С. Никольский расширяет в соответствии с реальной практикой духовных контактов прошлого понятие субъекта восприятия, вводя в таковое не только писателя, литературное течение или школу, но и целую эпоху и обосновывая это материалом сколь важного, столь и противоречивого периода, каким была у славянских народов эпоха национального возрождения. Такой подход ведет к расширительному пониманию литературных взаимоотношений, куда, помимо чисто эстетических и формальных элементов, широко включаются элементы, лежащие в области представлений об общественно-политическом устройстве. Характерный пример — интерес именно в эпоху чешского национального возрождения к такому яркому явлению в истории России, как Новгородская республика. Это доказывает творчество ведущих деятелей эпохи — Ганки, Линды, Челаковского. Равным образом находит свое отражение в литературе и второе важное слагаемое этого переходного процесса — формирование нации и национального самосознания. В литературе оно выражается повышенным вниманием ко всему национально значимому. В рамках формирования литературного языка это, например, появление у Юнгмана пестрого репертуара переводных произведений. Причем все это — высшие проявления национального у соседних народов, в том числе — «Слово о полку Игореве».

В условиях определенной синкретичности гуманитарных дисциплин и искусств наука и художественная литература в творчестве многих деятелей возрождения еще как бы не

отделились друг от друга. Никольский, подчеркнув научно-литературный характер литературных связей, передает эстафету словацкой исследовательнице Э. Пановой, которая на богатом фактическом материале анализирует отношение двух поколений деятелей словацкого возрождения к русской науке и литературе.

Первое поколение — Шафарик, Коллар, Голы — воспринимает литературный процесс в России главным образом через научные изыскания в области славистики, фольклористики, истории, что Панова объясняет приоритетным в условиях несвободы словацкого народа интересом к истории и науке национально независимой России в ущерб живому литературному процессу. Это даже приводит к более интенсивному развитию словацкой славистики в сравнении с русской. Интересы же второго поколения (Штур, Гурбан, Каоинчак) в условиях утверждения романтизма и возникновения литературной критики медленно, но верно смещаются в сторону художественной литературы, хотя и здесь эстетические критерии с трудом вытесняют общественно-идейные.

Л. Кишкин — «Словацкая литература в России (XIX — начало XX в.)» — сосредоточил внимание на трех основных формах восприятия словацкой литературы в русском обществе: на информации о ней в русской печати, на русских переводах словацких писателей и на отражении словацкой тематики в русской литературе. И если о первых двух мы имеем представление, будучи знакомы с деятельностью О. Бодянского, А. Пыпина, В. Спасовича и антологиями, составленными тщаниями Н. Берга, М. Петровского, Н. Новича, то масштабы отражения словацкой тематики у русских авторов становятся более осязаемы в результате обращения исследователя к целому ряду новых имен, главным образом, проявивших себя в публицистике. Это — предприниматель, математик, искусствовед Ф. Чижов, историк и этнограф Н. Ригельман, журналистка Е. де Витте.

В поисках соотношений чешского реализма 1886—1894 гг. с реализмом русским Р. Паролек показывает, как споры о русском реализме и вообще о русской литературе отражали по существу идейно-эстетическую дифференцированность литературного движения в самой Чехии. Паролек выделяет здесь группу видных критиков, публицистов и философов, объединившихся вокруг журнала «Cas» и радикальных критиков (А. Мршттик). Нельзя

не согласиться с автором, что в силу исторических обстоятельств критическое острие чешского реализма было направлено главным образом вовне: «В чешском реализме критика закономерно несколько умереннее». Но тогда некорректен, прежде всего по отношению к часистам (Я. Гербен, Я. Махар, будущий президент Т. Г. Масарик), защитительный пафос Паролека, определяющего Мршттика как «публициста, сохранившего честь чешской литературы», только потому, что тот охотнее прибегал к авторитету Белинского, тогда как часисты предпочитали идеи и образы Достоевского и Толстого.

Творчеству Я. Неруды посвящена работа Е. Германовой. Об этом писателе написаны тома. Высока в них оценка роли мастера слова в развитии национальной литературы. Но чего-то еще не хватало литературоведам, чтобы сказать о нем, вслед за Фучиком, как о «величайшем поэте» этой страны, равном в когорте мировых имен. Это попыталась сделать Е. Германова, сопоставляя нерудовский реализм 70—80-х годов с русской литературой XIX в. и вводя, благодаря этому сопоставлению, Неруду в европейский и мировой контекст. Сила Неруды в преодолении художественного видения буржуазного мира, в рамках которых был замкнут — и как литературное направление, и как стиль — «дозированный» реализм флюберовского типа, в стремлении от *человеческой комедии* аналитического реалистического романа к *человеческой поэзии* «современного демократического эпоса» (термин Н. Берковского). Именно это и воплощено в «Малостранских повестях» в форме сознательной и целенаправленной интеграции свободной идейно-художественной энергии газетного фельетона и традиционного реалистического очерка. Величие Неруды — заключает Германова — в «исконно чешском обогащении всех художественных достижений человечества».

В статье Н. Жаковой «Тютчев и чехи» раскрыты этапы усвоения творчества русского поэта в чешском обществе второй половины XIX в., начиная с его первого визита в Прагу в августе 1841 г. Внешние обстоятельства жизни Тютчева, ангажированность поэта в официальных структурах движения за славянскую взаимность практически до самого конца столетия заставляли воспринимать его преимущественно как певца славянства, выразителя идеи спасительной миссии России в деле освобождения славян от инородного гнета. И лишь в журнале «Slovanský Přehled» в 1899 г. Ф. Таборский публикует подборку из 15-

стихотворений поэта и показывает чешскому читателю Тютчева таким, каким он был в первую очередь — гениальным лириком-Философом.

Столь же кропотливо А. Кршепинская рассматривает восприятие в чешской среде творчества Д. Мамина-Сибиряка, хронологически доведя свой анализ до послевоенного периода. Вероятно, следовало бы поискать причины перевода сразу четырех уральских романов Мамина в 1921—1922 гг. («Приваловские миллионы», «Золото», «Дикое счастье», «Хлеб») в появлении в Праге значительной русской эмиграции и в росте интереса чехов к близкой, загадочной и необъятной стране.

Яркому и импульсивно-артистическому дарованию выдающегося чешского критика и эссеиста Ф. Кс. Шальды посвящена статья Э. Олоновой. В ней анализу подвергнуты те суждения о творчестве Пушкина и Лермонтова, которые Шальда, будучи энергичным участником литературно-эстетической борьбы 90-х годов XIX — 30-х годов XX в., высказывал во многих своих работах, особенно при определении роли и перспектив романтизма в чешской литературе, при рассмотрении явлений отечественной словесности в контексте общеевропейского литературного процесса. Два русских гения оставались для него всегда эталонами, сравнение с ними — высшая оценка для сравниваемого, будь то француз Стендаль или чех Врхлицкий. Вместе с тем, исследователь обращает наше внимание на дифференциацию в личном отношении Шальды к Пушкину и Лермонтову — Шальда часто противопоставлял их как конгениальные, но разные начала поэтической стихии. Пушкин для него — поэт-художник, Лермонтов — поэт-пророк.

В большой работе «Витезслав Незвал и I съезд советских писателей» Л. Будагова на широком фоне разнообразных исторических, политических и литературных обстоятельств того времени, с вполне уместной публицистичностью и эмоциональностью, раскрывает всю неоднозначность отношения великого чешского сюрреалиста, «одного из самых независимых поэтов» к советской действительности 30-х годов, к советской литературе и к такому грандиозному мероприятию, каким был I — и последний — «сталинский» писательский съезд. Автор подчеркивает, что в Москву Незвал отправлялся настороженным из-за вульгарно-социологических и догматических решений Харьковской международной конфе-

ренции пролетарских писателей, вызвавших отпор со стороны ведущих деятелей чешской культуры — И. Ольбрахта, И. Гонзла, Й. Горы. Стоит ли упрекать поэта, что он не смог за месяц (в условиях тщательно срежиссированного праздника многонациональной советской литературы) глубоко проникнуть в глубинные процессы, происходившие в СССР. Главное — как справедливо показывает автор — «на московских улицах он был туристом, в литературе — профессионалом». Тут он остался верен и своим эстетическим пристрастиям, и своему человеческому достоинству. Незвал смело заявил о своей принадлежности к сюрреализму, подтвердил приоритет эмоциональности, образности и высокого профессионализма в поэзии и оказался среди очень немногих, кто принял основные положения антидогматического доклада Бухарина, который азартно критиковали А. Сурков, А. Безыменский, Д. Бедный.

Книга «Общение литератур» вносит существенный вклад в изучение литературных отношений России, Чехии и Словакии и является убедительным свидетельством плодотворного общения и дружественных отношений литературоведов трех славянских стран.

Ритчик Ю.

В рецензируемом сборнике следует отметить немало достоинств. Так, общие тенденции литературных связей эпохи национального возрождения тщательно прослежены во вступительной статье С. Никольской. По-новому рассмотрено отношение П. Й. Шафарика к русской литературе в материале Э. Пановой. Очень интересен анализ восприятия творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка в чешской среде, предпринятый А. Кршепиньской, скрупулезно обследовавшей материал журналов и газет, где публиковались переводы произведений русского писателя, рецензии на них. Указано и на ошибки чешских рецензентов. Материал статьи расширяет представления читателей вообще об откликах в чешской среде на литературную жизнь в России. Новые сведения содержатся и в статье Н. Жаковой «Тютчев и чехи». Источниковая база добросовестно проработана, из чешских изданий выбрано практически все о Тютчеве. Предметом исследования Э. Олоновой стало отношение чешского критика и литературоведа Ф. Кс. Шальды к русской литературе. Имя Шальды мало знакомо нашей общественности, статья заполняет этот пробел. Автор останавливается на эстетических взглядах Шальды, определявших его

подход к русской классике. В статье Р. Паролека анализируется соотношение русского и чешского реализма в 1886—1894 гг., освещается восприятие творчества русских реалистов в Чехии, указано на типологические особенности чешского реализма. Чрезвычайно интересна статья Л. Будаговой об отношении чешского писателя В. Незвала к I съезду советских писателей. Особого внимания заслуживает оценка значения этого съезда. Автор подходит к ней диалектически, видит в материалах съезда светлые стороны, импульсы для возникновения истинных духовных ценностей. Этот вывод основан на изучении стенографического протокола съезда, совсем недавно ставшего доступным исследователям. Очень интересно проанализирована динамика изменения отношения Незвала к съезду.

Материал сборника дает повод к ряду размышлений, в том числе и критических. Так, из введения («От редколлегии») может возникнуть впечатление, что проблемы связей рассматриваемых литератур стали разрабатываться лишь с конца 50-х годов нашего века. Между тем эта разработка имеет более давнюю традицию. Например, восприятие творчества П. Й. Шафарика в России было уже в XIX в. столь широким, что только литературе этого вопроса посвящена целая книга [1]. Много писалось и на тему «Коллар и Россия» (см., например [2]). В конце XIX и первой трети XX в. русско-чешским литературным связям уделил много внимания русский славист В. А. Францев (см. библиографию его трудов в [3]). Отметим, что исследователи XIX и начала XX в. безоговорочно относят Шафарика к чешским ученым, послевоенные же словацкие литературоведы причислили его к ученым словацким. Очевидно, при решении этого и подобных вопросов должно учитываться не только происхождение, но и такие факторы, как язык, на котором писал ученый, культурная среда, в которой он формировался и действовал, его мировоззрение. Шафарик писал по-чешски (или по-немецки), формировался как ученый в Праге, твердо стоял на позициях чешских ученых в вопросе о словацком языке, осудив «штуровскую схизму». Причисление его к словацким ученым выражает лишь ностальгию малочисленного народа по великим личностям. Конечно, при ином подходе материал статьи Э. Пановой выглядел бы значительно скромнее, чем в представленном виде, но существа дела это не меняет. К словацким ученым причисляет Шафарика и Л. Кишкин в статье «Словацкая литература

в России XIX — начала XX в.». Какими критериями руководствовался автор определить трудно, особенно учитывая тот факт, что на с. 49 он называет *русским* ученым Ягича, который с немалым успехом может быть отнесен, скажем, к немецкой культуре, а вообще принадлежит прежде всего к числу югославянских (хорватских) ученых. Вызывает сомнение утверждение (с. 49—50), что русский читатель 40-х годов XIX в. имел представление о словацкой литературе благодаря варшавскому журналу «Денница». По свидетельству его издателя П. Дубровского, в Россию направлялось по подписке всего 12 экземпляров журнала, и вряд ли этого было достаточно для ознакомления со словацкой литературой сколько-нибудь широкого круга читателей. В целом статья Л. Кишкина носит в основном библиографический характер, и далеко не исчерпывает того, что в России написано о словацкой литературе в рассматриваемое время. Поскольку в литературе уже существуют подробные аналитические обзоры этого предмета, приходится сделать вывод, что статья Л. Кишкина не вносит в науку ничего нового.

Имеются дополнительные соображения по поводу отношения к славянам Ф. И. Тютчева. В значительной части его произведений ощущим не разделявшийся большинством русских интеллектуалов славянофильского толка «имперский панславизм». Поэтому хотелось бы видеть больше материалов о мировоззрении Тютчева, чем это представлено в статье. Н. Жаковой не учтены новые оценки значения поездки чешской делегации на этнографическую выставку и славянский съезд 1867 г. Современные историки считают, что недостаточно оценивать эту поездку лишь как «политическую демонстрацию», как «выражение протеста против действий австрийского правительства» (а именно так говорит автор статьи на с. 118), что нужно видеть в ней стремление чешских деятелей найти международную опору для решения чешского национального вопроса; это означало качественно новый подход к международной политике [4].

Р. Паролек в упомянутой статье не находит объяснения проникновению реализма в Чехию лишь в конце XIX в. На наш взгляд, его следует искать в особенностях развития чешского общества и чешской культуры в XIX в. Для Чехии в отличие от России главным был вопрос достижения национальной независимости. Все помыслы чешских интеллектуалов, в том числе писателей, сосредотачивались на национальной идее. В таких условиях критика

недостатков чешского общества, как считалось, играла на руку его национальным недругам, а подчас квалифицировалась и как измена национальному делу. Достаточно припомнить тот факт, что библиотекарь Чешского музея А. Патера в течение 10 лет не смел публично заявить о том, что обнаружил подделки чешских глосс в древнем словаре «*Mater verborum*» что подвергались гонениям критики подлинности Краледворской и Зеленогорской рукописей и т. д. Увлечение национальной идеей изолировало чешскую литературу от мирового литературного процесса, ввиду чего чешский реализм почти на столетия отстал от его развития не только в России, но и в других великих литературных державах, например, во Франции и Англии.

Оценивая рецензируемый сборник в целом, отметим высокий научный уровень большинства статей. В них (за отдельными упомянутыми исключениями) рассматриваются те аспекты взаимосвязей русской, чешской и словацкой литератур, которые ранее не изучались несмотря на богатую историографическую и литературоведческую традицию. Авторы статей нашли новые темы для исследований и обогатили существующее представление об изучаемых явлениях. В сборнике преобладают работы аналитического характера; библиография и информация занимают второстепенное место. В научный оборот введены новые источники, а известные ранее истолкованы по-новому, так что сборник является еще одним доказательством плодотворности русско-чешских и русско-словацких литературных связей.

Лантвева Л. П.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лантвева Л. П. П. Й. Шафарик в русской дореволюционной литературе — In: *Sborník Národního musea v Praze. Řada C. Sv. XII, C. 5. Praha, 1967.*
2. *Laptevoú L. P. Ruská literatura y 19. a na zaciatku 20. stor. o Janovi Kollárovi.* — In: *Sborník Filozofické Fakulty Univ. Komenského. Historica. Roc. XX. Bratislava, 1968, s. 67—103.*
3. *Syllaba T. V. A. Francev. Bibliografický soupis vedeckých prací s prehľadom jeho činnosti.* — Praha, 1977.
4. *Šesták M. Pouť Čechu do Moskvy roku 1867.* — Praha, 1986, s. 21.

Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze. Renesans. Barok.) Pod red. T. Michalowskiej przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temierusz. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1990, 976 s. («Vademecum polonisty». Red. naukowy serii J. Skawiński)

Словарь старопольской литературы. (Средневековье. Ренессанс. Барокко.) Под ред. Т. Михаловской при участии Б. Отвиновской и Э. Сарновской-Темериуш

В польской серии словарей по филологическим дисциплинам «Путеводитель полониста» вышло ценное и давно ожидавшееся издание — «Словарь старопольской литературы». Словарь создан в Институте литературных исследований ПАН при участии ученых других научных центров. Ранее в той же серии вышло аналогичное издание «Словарь литературы польского просвещения» [1].

Всего рецензируемый словарь включает 207 статей. Значительная часть терминологического словаря — примерно треть всех статей — посвящена, разумеется, литературным жанрам старопольской литературы. Отдельно рассмотрены литературные течения и направления, а также целые эпохи, например, статья «Средневековье» (s. 829—856) — самая большая в словаре по объему, и это вполне понятно, поскольку в современном польском литературоведении нет обобщающего труда о средневековье, подобного «Ренессансу» Е. Зёмека или «Барокко» Ч. Хернаса. Цикл статей исследует литературное произведение и его структуру («Композиция произведения — теория», «Фабула — понятие», «Поэма — понятие» и др.), в также стихотворение («Стих», «Самеи poloniscum» и др.). Отдельный блок статей посвящен литературоведческим дисциплинам («Литературная критика», «Поэтика», «Риторика», теория письма — «Ars epistoladi» и т. д.), а также литературно-эстетическим категориям старопольской литературы: «Воображение», «Мимесис», «Подражание», «Тропы», «Метафора», «Locī communes» и т. д. Значительны по объему статьи о судьбах европейского культурного наследия в Польше: «Античность», «Мифология», «Горацианство», «Библия» и другие, а также о разнообразных международных связях старопольской литературы: с итальянской,

французской, английской, чешской, испанской, венгерской, скандинавскими, восточными и восточнославянскими литературами. При этом отдельные статьи посвящены некоторым выдающимся писателям, повлиявшим на всю европейскую культуру, среди них — Эразм Роттердамский, Ф. Петрарка, Ю. Липсий, Л. Гонгора, Д. Марино.

Наконец, последний блок статей охватывает широко понимаемый контекст литературы в различные эпохи («Реформация», «Гуманизм», «Сарматизм»), философские и эстетические течения («Аристотелизм», «Неостоицизм», «Схоластика» и т. д.). Достаточно подробно учтены разные стороны литературной культуры, создания, распространения и восприятия литературного произведения: «Цензура», «Библиотеки», «Печатная книга», «Рукописная книга», «Книгоиздательство», «Литературные и научные общества», связь литературы с изобразительным искусством.

Из перечисленных циклов статей видно, что «Словарь старопольской литературы» охватывает широкий круг явлений как историко-литературного, так и литературно-эстетического и социологического характера. За пределами словаря остались, по понятным причинам, биографии писателей и библиографии их сочинений — сведения о них можно найти в специальных справочниках [2; 3].

Статьи словаря неоднородны, что обусловлено как разнообразием материала, так и степенью его научной разработанности, сказалось также и большое число авторов, однако в целом в словаре выдержана общая схема «термин, понятие — европейская традиция — польский материал». Статьи сопровождаются краткой, но достаточно исчерпывающей библиографией, завершаются отсылками к близким тематическим статьям. В данном издании эти отсылки очень важны, так как по техническим причинам в словаре не напечатан «индекс терминов и понятий», который, как указано в предисловии (s. 7), значительно шире оглавления; внутрискластные отсылки позволяют в какой-то степени облегчить пользование словарем.

Стиль статей не вполне типичен для энциклопедического издания, изложение не чуждо полемической заостренности, часто приводятся примеры. Отличительная черта словаря — краткая, но емкая характеристика европейской традиции того или иного явления, что позволяет точнее определить специфику польского литературного процесса. (Внимание к исторической поэтике характерно для всего

корпуса статей.) Правда, в некоторых случаях разделы, посвященные европейской традиции, в два раза превышают собственно старопольский материал. Это понятно в статьях «Гонгоризм» (с. 246—247) или «Литературная критика» (с. 354—359) по причине недостаточного развития данных явлений в польской литературе, но вряд ли оправдано в статье «Басня» (с. 68—70), поскольку у басни в Польше богатая история. В библиографии, кстати, не учтена вышедшая в 1983 г. антология польской басни, в которой древний период выглядит достаточно представительно [4].

Словарь охватывает явления литературной жизни Польши на протяжении нескольких столетий и, естественно, в первую очередь освещает то, что уже изучено. Однако некоторые понятия, особенно из области литературной эстетики, ранее почти не исследовались, например, «Фигуры» (с. 208—216), «Ingenium» (с. 301—304) или «Iudicium» (с. 306—308). Некоторые хорошо известные темы получили новую интерпретацию: так, в словаре нет отдельной статьи, посвященной переводу или его теории — это понятие вошло в статью «Оригинальность» (с. 535—541), в которой, в частности, рассмотрены «перевод», «парафраза» и «подражание» как звенья единого процесса. Это решение нельзя не признать удачным, так как в древних литературах границы оригинальности во многих случаях трудно уловимы, а искусственное выделение переводов из корпуса всех текстов искажает облик средневековой литературы.

Из тех явлений литературной жизни, которые по тем или иным причинам не вошли в словарь, особенно недостает статей о «писателе» (социальное положение и происхождение, проблема литературного поколения, которая достаточно явно обозначилась уже в конце XVI в.; см. [5]), а также статьи «Плагиат», хотя некоторые аспекты этих проблем затронуты в других статьях (см. «Литературная культура»). Вместе с тем возможно, на наш взгляд, объединение статей «Восточные влияния в литературе» (с. 525—535) и «Восток в культуре и литературе» (с. 915—924), написанных одним автором и очень близких по материалу и теме.

В предисловии к словарю Т. Михаловская пишет, что он предназначен в первую очередь для студентов и является дополнением к учебникам по истории польской литературы. Это справедливо, но думается, что круг заинтересованных читателей словаря будет значительно шире. В достаточно лапидарной форме авторы

подвели итог многолетней работы польских ученых и создали компендиум, который несомненно станет настольной книгой преподавателей и специалистов по старопольской литературе, в том числе зарубежных.

Николаева Е. К., Николаев С. И.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Słownik literatury polskiego Oświecenia. (Pod red. T. Kostkiewiczowej.) Wrocław, 1977.
2. Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut». Piśmiennictwo staropolski. Warszawa, 1963—1965. T. 1—3.
3. Literatura polska: Przewodnik encyklopedyczny. 4 wyd. Warszawa, 1984—1985. T. 1—2.
4. Antologia bajki polskiej. Opr. W. Woznowski. Kraków, 1983.
5. Litwornia A. Sebastian Grabowiecki: Zarys monograficzny. Wrocław, 1976.

О просвещении и романтизме. Советские и польские исследования. М., 1989, 192 с.

Сотрудничество польских и российских ученых в области изучения истории культуры двух стран и русско-польских культурных взаимосвязей — научная традиция, приносящая плодотворные результаты. Один из примеров тому — рецензируемый сборник, основанный на материалах советско-польского симпозиума (Москва, 1987 г.). Авторы сборника — филологи, искусствоведы, историки культуры — сосредоточили свое внимание на таких ярких и значительных эпохах польской культуры, как Просвещение и романтизм. Предметом их исследования стали разные стороны культурных процессов периода становления, развития и расцвета в Польше культуры Нового времени.

Рассмотренные авторами проблемы чрезвычайно многообразны и охватывают почти все сферы художественного творчества — литературу, музыку, живопись, архитектуру, театр, садово-парковое искусство, а также общественную мысль и фольклор. Наряду со статьями, посвященными проблемам каждой из этих сфер культуры в отдельности, в сборнике представлены и исследования синтетического плана, в которых раскрываются принципы мышления, категории и понятия, характерные для данной культурной эпохи. Разноплановый подход позволяет получить

объемное представление о культуре польского Просвещения и романтизма и делает книгу интересной для широкого круга читателей.

Основное достоинство сборника — наличие при всей широте тематики и жанровом своеобразии статей обобщающего стремления выявить типологические черты, определявшие облик польской культуры Нового времени.

Центральную группу статей объединяет проблематика, связанная с анализом универсальных категорий, которые «определяют структуру культуры, план ее содержания» (с. 77). Так, Л. А. Софронова в историко-культурном ключе рассматривает категорию любви, как одну из ведущих категорий романтизма. Любовь в понимании романтиков, как доказывает Л. Софронова, составляла основу смысла человеческой жизни и отношений между людьми, во многом определила теорию культуры, философию и национальное самосознание эпохи романтизма. Категория любви в романтической модели мира тесно переплеталась с категориями свободы и творчества. Понятию «творческого гения» в романтической культуре посвящена статья Я. Камёнки-Страшакowej, автора многих работ о литературе польского романтизма. Сосредоточив внимание на эстетических положениях романтизма, на представлении о роли художника, автор прослеживает эволюцию понятий «гений», «пророк», что позволяет прийти к интересным выводам о характерной для романтической культуры концепции человека, идеальной модели личности и ее взаимоотношениях с историей. Центральную для романтизма категорию свободы освещает Д. Прокофьева, в новом ракурсе исследующая мотивы свободы и воли в русской и польской поэзии первой половины XIX в.

Большая часть статей сборника также посвящена ключевым для типологии культуры Просвещения и романтизма проблемам. В эпоху Просвещения к их числу, безусловно, относилась многообразно преломленная в культуре идея прогресса. Воззрения польских теоретиков XVIII в. — М. Свёнтковского, И. Влодка, Г. Коллонтая и С. Сташица — на прогресс, на роль в нем науки, образования и изменений в общественном сознании стали предметом анализа Т. Беньковского. Чрезвычайно существенной для системы культуры Просвещения и малоисследованной в историко-культурном аспекте сфере творчества — садово-парковому искусству — посвящена статья И. И. Свириды. Основываясь преимущественно на польском материале, взятom в

широком общеевропейском контексте, автор показывает, что пейзажный парк как художественно-культурное явление сформировался в эпоху Просвещения и был неотъемлемой ее частью. При этом целенаправленное изучение теории и практики садоводства, лишь в XVIII в. занимавших столь почетное место среди других видов творчества, дает возможность автору делать широкие, обобщающие выводы о характерной для Просвещения модели взаимоотношений человека и природы, природы и искусства.

Вопросы, принципиальные для польского романтизма, подняты в статье И. Ф. Бэлзы, анализирующего этико-эстетические концепции польских романтиков, в первую очередь — Мицкевича и Словацкого. Автор прослеживает характерные аспекты творчества поэтов-романтиков, связанные с их стремлением к постижению народного духа, с понятием «балленродизма», идеей служения Отечеству и т. д. В интересной статье З. Хехлинской рассматривается очень важная и актуальная для польской культуры XIX в. проблема — влияние национальной идеи на художественное творчество. Исследуя романтическую музыкальную эстетику и критику до и после восстания 1830 г., Хехлинская приходит к любопытному выводу о том, что требование национальной самобытности, настойчиво предьявляемое в то время к польской музыке, наряду с положительным воздействием имело и отрицательные последствия. После 1830 г. оно стало единственным критерием музыкальной критики, было возведено в абсолюте, а потому вело к неприятию новаторских поисков и к изоляции от лучших образцов европейской музыки. Хотя такая точка зрения может показаться спорной, она, несомненно, обогащает традиционные представления о романтической культуре.

Искусствовед Е. Малиновский избрал темой своего исследования польский вариант бидермейера, распространившегося в 1815—1848 гг. и берущего свое начало в Австрии и Германии. Бидермейер представлял собой специфическое направление в искусстве, выходящее за рамки и романтизма, и классицизма, и реализма. Обстоятельное исследование проявлений бидермейера в польской живописи, рассмотренных во взаимосвязи с литературой, критикой и характерным для него эстетическим сознанием, позволяет существенно расширить наши знания о путях развития польской культуры XIX в.

Интересными являются впервые приведенные многими авторами фактические матери-

алы, позволившие пролить свет на неизвестные страницы в истории польской культуры. Это и иконография портретов Станислава Августа, рассмотренная Я. Покорой в связи с городской культурой, и развитие польской актерской школы в 1765—1831 гг. (статья К. Вежбицкой-Михальской), и фольклорный образ русалки, осмысление которого в романтической поэзии анализирует Л. Виноградова, и педагогическая деятельность на Украине музыканта-просветителя И. Козловского (статья К. Шамаевой). Огромный пласт архивных материалов вводит в научный оборот работа П. Пашкевича, посвященная архитектуре православных церквей в Варшаве в первой половине XIX в. П. Пашкевич является по существу первым исследователем, обратившимся к этой почти не изученной теме, связанной с русской культурной средой в Варшаве XIX в.

Сборник, созданный совместными усилиями российских и польских ученых, безусловно, заслуживает высокой оценки. Содержащийся в нем новые подходы и материалы, хороший современный уровень исследования существенно обогащают изучение истории культуры славянских народов.

Филатова Н. М.

DIE KUTTENBERGER BIBEL, 1489. I. TEXTBAND; II. KOMMENTARBAND. Paderborn, 1989 («Biblia Slavica» 1, 2).

Кутногорская библия, 1489

Проф. Р. Олеш (скончавшийся в июне 1990 г. в возрасте 80-ти лет) и проф. Г. Рота (Боннский университет) известны в славистике не только своим вкладом в изучение славянских языков и литератур, но и неутомимой организационно-издательской деятельностью, благодаря которой научному миру становятся доступны в изданиях и переизданиях десятки средневековых славянских текстов, а также сотни исследований о них. В 1988 г. они совместно разработали план серии «Biblia Slavica», о чем известил красиво изданный рекламный проспект, тогда как научное обоснование задуманной серии было изложено проф. Г. Роте в 1990 г. [1]. Серия охватывает большую часть первопечатных славянских Библий на чешском, польском, церковнославянском, хорватском, сербо-лужицком языках,

а также включает в свой состав Дрезденскую (Лесковецкую) библию (чешский рукописный текст 1370 г.) и литовскую Библию в ее кенигсбергском издании 1580—1590 гг. Кроме того в серию входят стихотворные переложения Псалтыри, выполненные Симеоном Полоцким, Василием Третьяковским и Александром Сумароковым: с известным основанием их можно рассматривать как первые опыты Библии на русском языке.

Оценивая значение задуманного дела, нужно принять во внимание несколько обстоятельств. В связи с политическими условиями в славянских странах в последние десятилетия уделялось совершенно недостаточное внимание изучению библейских текстов, которые между тем представляют собою важнейший ингредиент языковой, литературной, культурной истории всякого народа (приятное исключение представляет здесь чешская Библия благодаря, главным образом, работам покойного Вл. Кыаса и ныне здравствующего И. Винтра). Начатая серия публикаций будет способствовать изменению положения дел к лучшему, потому что вводимые в обращение тексты относятся к числу малодоступных, к тому же при перепечатке текстов издатели сопровождают их иногда довольно обширными исследованиями. Специфика первопечатных библейских текстов на фоне рукописной традиции заключается в том, что почти все они появились как частные внецерковные начинания гуманистического характера, что накладывает свой отпечаток на культурно-исторические условия их возникновения, нередко отражается и в структуре текста. В истории художественного оформления книги первопечатные издания нередко дают непревзойденные образцы хорошего стиля и вкуса. Предпочтение, которое отдают издатели серии иллюстрированным (иллюминированным) Библиям, можно только приветствовать. Издательство Ferdinand Schöningh (Падерборн, ФРГ) приняла на себя задачу высококачественного офсетного воспроизведения всей серии.

Вышло уже три книги из серии «Biblia Slavica»: так называемая Библия Леопольды, польское католическое издание, осуществленное в 1561 г. в Кракове; стихотворное переложение Псалтыри В. Третьяковского — это первое полное издание сочинения, известного в нескольких рукописных копиях XVIII в. (см. обстоятельный разбор его [2]); наконец, рецензируемое издание — Кутногорская библия 1489 г.

Последняя публикация отличается особой тщательностью и роскошью изготовления. Офсетное воспроизведение текста выполнено на тонированной кремовой бумаге прекрасного качества в трех цветах: основной цвет черного колера украшен киноварными и синими инициалами. Обрез покрыт позолотой. Сама Библия и сопровождающий ее томик статей переплетены в вишневого цвета кожу с тиснением. Предисловие пражского архиепископа кардинала Фр. Томашека к офсетному воспроизведению Кутногорской Библии не является в собственном смысле благословением, но придает изданию респектабельность.

У чешской Библии особая и счастливая судьба. Ее перевод с Вульгаты был выполнен в середине XIV в. и за несколько десятилетий получил распространение во множестве списков, содержащих Библию в полном наборе составляющих ее книг. Первое печатное издание чешской Библии вышло в Праге в 1488 г., когда еще очень немногие европейские народы имели печатные библейские тексты. И в рукописной, и в печатной форме чешская библейская традиция оказала решающее влияние на письменность соседних славянских народов. В большей или меньшей степени она отразилась и в польской Библии королевы Софии, и в церковнославяно-белорусской Библии Фр. Скорины, и даже в церковнославянской Библии Ивана Федорова, а также в переводах отдельных библейских книг на различные славянские языки вне заметных конфессиональных пределов.

Пражское издание Библии было перепечатано годом позже Мартином из Тышнова в Кутной Горе (Kutná Hora) с прибавлением 116 гравюр. Шесть гравюр с изображением шести дней творения, помещенные перед книгой Бытия, и гравюра с гербом Кутной Горы, помещенная после Апокалипсиса, были изготовлены специально для этого издания. Остальные заимствованы из немецкой Библии, изданной в Нюрнберге в 1483 г., куда в свою очередь они попали из кельнского издания нижненемецкой Библии 1479 г.

Сопровождающая издание книга статей содержит на своих 87 страницах следующие материалы на немецком языке: предисловие издателей, статью Вл. Кыаса «Старочешский перевод Библии XIV в. и его развитие в XV в.» с сокращенной версией этой статьи по-английски и с приложением образцов старочешских библейских текстов по четырем ре-

дакциям чешской Библии; статью К. Стейскала «Кудожественное оформление чешских библейских рукописей», к которой приложено 40 великолепных иллюстраций; статью Э. Урбанковой «Кутногорская Библия среди чешских инкунабулов», а также заметку Вл. Кыаса об орфографической норме кутногорской Библии и заметку Г. Роте об особенностях экземпляра этой Библии из библиотеки Уппсальского университета, который был использован для фототипического воспроизведения.

Статьи Вл. Кыаса и К. Стейскала дают очень много для понимания истории возникновения старочешского текста Библии, формирования его редакций, истории художественного оформления библейских рукописей у чехов. Оба автора, однако, не сообщили здесь ничего нового сравнительно с другими, уже опубликованными своими трудами, и почти ничего не сказали собственно о Кутногорской Библии. Явно недостаточно ограничиться лаконичным утверждением, что эта Библия содержит текст, тождественный с изданием 1488 г. Мы знаем, что в эпоху первопечатных изданий текстовые различия наблюдаются даже между отдельными экземплярами одного и того же тиража, и поэтому хотелось бы видеть более детализованную картину отношений этих двух изданий. Точно так же само по себе ценное описание миниатюр и инициалов из чешских рукописей XIV—XV вв. мало что объясняет в случае с Кутногорской Библией, большая часть иллюстративного материала которой заимствовано из немецкой готической традиции. Мы вправе, однако, допустить, что это заимствование не было вполне механическим. Научный комментарий, таким образом, создает основу для исследования этого вторично опубликованного библейского текста, снабжает будущего исследователя Кутногорской Библии необходимым инструментарием, но на себя эту задачу не берет.

Досадным недостатком издания оказался английский перевод статьи Вл. Кыаса, где рядом с грубыми шероховатостями стиля встречаются неудачные терминологические замены [например, *evangelium* вместо *lectionary* (p. 49), *evangelical text* вместо *Gospel text* (p. 49, 51), *the general Epistles* вместо *the Catholic Epistles* (p. 50, 51), а также опечатки (1450 г. вместо 1350; 1580 г. вместо 1480 и др.)].

В 1988 г. издательством «Слово — Арт» (Москва — Ленинград) была фототипически переиздана Острожская Библия 1580 г., а теперь в Минске осуществляется переиздание Библии Фр. Скорины (в 1990—1991 гг. вышло

два тома, охватывающих книги от Бытия до Иова). Ни та, ни другая перепечатка не могут стоять рядом с изданиями серии «Biblia Slavica» по своим полиграфическим достоинствам; научного сопровождения они вообще не имеют. Хотелось бы надеяться, что их появление не будет препятствием для нового высококачественного воспроизведения этих изданий в Падерборне. Остается только мечтать, чтобы серия была пополнена фототипическим воспроизведением Геннадиевской библии 1499 г. В таком случае этот самый драгоценный рукописный библейский текст восточнославянского

Средневековья получил бы заслуживающее своего значения печатное воспроизведение.

Алексеев А.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Rothe H.* Die Bibel bei den Slaven und die «Biblia Slavica». — Bonner Universität Blätter, 1990.
2. *Николаев С. И.* Первое издание «Псалтыри» В. К. Третьяковского. — Русская литература, 1991, № 1.



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И ЕГО ЭПОХА

23—24 февраля 1992 г. в Еврейском университете в Иерусалиме проходили филологические чтения в честь д-ра Ады Штейнберг, организованные кафедрой русской и славянской филологии и Центром по изучению славянских языков и литератур.

Организаторы конференции уже не в первый раз отмечают научными сборниками и симпозиумами высокие заслуги замечательных ученых-славистов, давних сотрудников кафедры, например, проф. И. З. Сермана, проф. В. Д. Левина. Утверждение живой, непосредственной связи разных поколений славистов, научное и общественное признание достижений филологов старшего поколения — добрая традиция университетской жизни.

Ада Аркадьевна Штейнберг — тонкий и внимательный исследователь русской литературы XX в. Творчеству Андрея Белого, главным образом его сложной психологической прозе, она посвятила немало интересных статей и замечательную монографию, недавно изданную в США. Эти работы получили известность среди ученых-славистов во всем мире. Поэтому выбор творчества Андрея Белого как темы симпозиума в честь Ады Штейнберг стал вполне оправданным и логичным.

Все, что говорится об Андрее Белом, является в некотором роде ответной репликой в диалоге. 81 год назад, путешествуя по Средиземноморью с Асей Тургеневой, Белый провел в Иерусалиме две недели, из которых одна пришлась на русскую православную Пасху. Его заметки об этом паломничестве не претворились ни в главы книги, ни в газетные очерки и сохранились лишь в эпистолярном наследии. Часть иерусалимских писем была опубликована Н. В. Котрелевым в Москве в 1988 г. в третьем выпуске альманаха «Восток — Запад». Белый бранит европейскую «циви-

лизацию гигиенических зубочисток и котелков», жалуется на «общество» своих соотечественников, на «мир, который нас ненавидит» и — восхищается: «Как хорош, ... как радостен Иерусалим!».

Естественной репликой в этом диалоге было ожидавшееся — и ожидание сполна оправдалось! — восхищение Иерусалимом зарубежных участников конференции, прибывших в Святой Город из Лондона, Петербурга, Москвы и Остина (штат Техас). Неожиданно в Иерусалиме выпал густой, обильный, плотный вековой редкости снег, странным образом соединяющий жаркий эпистолярный Иерусалим Андрея Белого с его метельной петербургской прозой, в этом легко можно было увидеть нечто мистическое.

Конференцию открыл ее непосредственный организатор, филолог широкого диапазона, пушкинист, текстолог-источниковед С. М. Шварцбанд, приветствовавший гостей и участников.

Исполняющий обязанности главы департамента славистики Иерусалимского университета профессор Т. Фридгут произнес краткое приветствие, обращенное к Аде Штейнберг. Более подробно «Слово об Аде Аркадьевне Штейнберг» сказал ее коллега по кафедре проф. Д. М. Сегал¹.

В докладе проф. С. Монаса (Университет Остина, штат Техас, США) речь шла об образах полета и взрыва в романе «Петербург», имеющих (особенно тема взрыва) важное значение не только для этого, но и для ряда других произведений Андрея Белого. При обсуждении этого сообщения была подчеркнута мысль докладчика о том, что образы полета достаточно ярко представлены в творчестве и таких очевидных предшественников Белого в

¹ Выступление проф. Д. М. Сегала публикуется в № 5 нашего журнала, посвященном эмиграции.

русской литературе, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов.

В докладе В. Паперного (Университет Хайфы) были высказаны некоторые суждения об известной сложности и противоречивости структуры личности Андрея Белого. В поведении поэта была выделена следующая особенность: в различных обстоятельствах («контекстах») А. Белый делал заявления, достаточно резко противоречащие друг другу. По мысли докладчика, это было не лицемерием или тривиальной конъюнктурностью, но проявлением особого, возможно, восходящего к архаическим пластам личности, отношения к проблеме самореализации в разных ситуациях.

В сообщении М. Ланглебен достаточно убедительно рассматривалась традиционная тема «Белый и Гоголь». На этот раз на уровне лексических повторов в некоторых сквозных эпизодах романы «Маски» и «Москва» А. Белого сопоставлялись с гоголевской «Шинелью», а Коробкин — с Акакием Акакиевичем Башмачкиным.

Проф. И. З. Серман, продолжая тему, начатую в свое время еще К. И. Чуковским (Некрасов в восприятии поэтов XX в.), рассматривал, как преломился образ некрасовской «деревни» в книге стихов А. Белого «Пепел».

Л. Фиалкова обобщила свои наблюдения над структурой «фантастического пространства» в романах А. Белого «Петербург» и «Москва».

К. А. Долинин посвятил свой доклад одной из наиболее ярких особенностей творчества А. Белого — его стилистике, сопоставляя ее, в частности, со стилистикой Марселя Пруста.

В интересном и вызвавшем живое обсуждение докладе Т. В. Цивьян (ИСБ, Москва) приводились некоторые семиотические наблюдения над «символистским словоупотреблением» А. Белого, приводящим, в частности, к тому, что прилагательные-эпитеты могут утрачивать свою конкретику, становясь, по функции, «местоимениями».

Проф. В. Э. Орел анализировал связь «Глоссолалии» Белого с современными ему лингвистическими концепциями.

Проф. А. Алексеев остановился на роли символистов и, среди них, А. Белого в эволюции русского литературного языка XX в.

С большим интересом было выслушано сообщение Р. Д. Тименчика, убедительно показавшего, что набоковское «Изобретение Вальса» тесно связано с теми романами А. Белого, где фигурируют изобретатели оружия массового уничтожения («Москва», «Москва под ударом»).

Б. А. Кац, глубокий исследователь сюжета «поэты и музыка», на этот раз продемонстрировал музыкальные приемы в поэтическом тексте: он проанализировал варианты контрапункта некоторых четверостиший поэмы Белого «Первое свидание».

З. Д. Давыдов привел малоизвестные детали об отношениях А. Белого и М. Волошина.

Ю. Л. Фрейдин подытожил и попытался обобщить сведения об отношении к Белому О. Мандельштама, написавшего известный реквием последнему символисту.

О том, как образ ушедшего «в народ» поэта-странника Александра Добролюбова отразился в прозе Андрея Белого, рассказала Е. Д. Толстая.

О работах А. А. Штейнберг, посвященных творчеству Андрея Белого — центральной части филологических чтений «Андрей Белый и его эпоха» — рассказал лондонский литературовед Д. Граффи.

Последнее сообщение конференции было «устной публикацией»: Л. Юниверг зачитал фрагменты из воспоминаний известного издательского деятеля 1910-х годов И. Лазаревского, в которых фигурировали Андрей Белый и Александр Блок.

В заключение конференции была общая дискуссия и «круглый стол», в котором, наряду с хозяевами и гостями, приняли участие студенты Университета.

Конференции сопутствовала удача в том, что касается тематики и состава участников, и общей атмосферы, возникшей при непосредственном контакте коллег. Снежное и метельное пространство Андрея Белого, вопреки всякой традиции, овладело Вечным Городом — на этот раз, быть может, только потому, что здесь так много, подробно и живо говорили об этом «конькобежце и первенце, веком гонимом вашей под морозную пыль образуемых вновь падежей».

Т. Ф.

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОЛЬСКОГО ПОМОРЬЯ

20—22 сентября 1991 г. в Гданьске состоялась научная конференция, посвященная народной культуре Восточного Поморья в Польше.

Конференции предшествовал 67-й съезд Польского этнографического общества — основного ее организатора (наряду с ним в подготовке

конференции участвовали Гданьский воеводский отдел культуры, Национальный музей в Гданьске, музей истории Гданьска и этнографический музей-парк в селе Вдзьдзе).

Тема конференции связана с традиционным для польской науки — этнографии, культурологии, этнолингвистики, социологии, литературоведения — интересом к проблеме регионализма в культуре (характерно, что один из наиболее интересных литературно-общественных журналов в Польше — «Regiony»). Основным этносом, населяющим Восточное польское Поморье, остаются до сих пор кашубы. Их историческая судьба, язык, фольклор, литература издавна привлекавшие внимание ученых не только Польши, но и сопредельных стран, были и остаются предметом острых дискуссий в славяноведении. В нашей отечественной науке кашубской проблематике посвящены труды А. Ф. Гильфердинга, А. А. Котляревского, К. М. Плавинского, И. И. Первольфа, А. С. Будиловича, А. М. Селищева, Н. И. Грацианской, Д. Н. Егорова, Л. П. Лаптевой и др. В них освещаются преимущественно древняя история прибалтийских славян, их борьба против германской колонизации, их связи с Польским государством, своеобразие кашубского и словинского говоров, их место в системе западнославянских языков. Собственно народная культура кашубов, словинцев и других этнических групп Поморья, их фольклор не стали предметом специального изучения в России, тем большего внимания заслуживают плодотворные исследования польских ученых, начатые О. Кольбергом и успешно продолженные несколькими поколениями этнографов и фольклористов. Конференция в Гданьске, в сущности, подытожила результаты этой деятельности и выявила актуальное значение проблемы регионализма для современного славяноведения.

Конференцию открыл президент Польского этнографического общества З. Клодницки.

В докладе проф. Ю. Божишковского (Гданьск) была охарактеризована культура различных этнических групп Поморья (Повислья, Земли Хелмницкой, Крайны, Кочевья, Боров Тухольских), а также словинцев (почти целиком переселившихся из Слупской гмины в Германию). Докладчик определил кашубскую этническую общность в целом как остаток более обширной этнической общности прибалтийских славян, как пограничье между западнославянской и германской зонами. Он обратил внимание на процесс германизации и полонизации кашубов и на недооценку в

исследованиях этнического своеобразия их культуры. Ю. Божишковский призвал к более активному изучению народной культуры кашубов в процессе комплексного ее исследования силами этнографов, лингвистов, социологов и историков.

Проф. Б. Сынак (Гданьск), пользуясь методом социально-психологического анализа, охарактеризовал этническое самосознание кашубов, раскрыл механизм суждений отдельных групп не только по законам оппозиции «мы — они», «свой — иной», но и по законам трехчленной парадигмы: «свой — иной — чужой». Он выделил не только позитивные стереотипы мышления, главным образом в области традиционных культурных ценностей, но и негативные стереотипы в этническом сознании, относящиеся преимущественно к другим этническим группам. В целом, по мнению докладчика, процесс развития этнического самосознания кашубов развивается в направлении интеграционном, при сохранении некоторой дистанции в межнациональных связях.

Доктор Е. Самп (Гданьск) рассмотрел кашубскую литературу как форму диалога культур — устной (фольклорной) и письменной. Для первой характерна сохранность традиционных фольклорных жанров (предания, сказки, рассказы, песни и др.), а вторая существует не только как профессиональное творчество писателей, но и как массовая «народная литература». Последнюю определяют мотивы «культы земли (природы)», «святой веры предков», приверженность к местной диалектной речи; ей свойствен автобиографизм, идеализация истории своего региона, «поморская идея». Хотя между современной народной литературой и фольклором существует генетическая связь, они заметно различаются содержанием и поэтикой. Народной литературе присуще стремление к универсализации понятий, образов и символов, к освоению опыта некашубской традиции, обращение к образцам профессиональной кашубской и общепольской литературы.

Проф. Т. Карвица (Торунь) осветила состояние этнографических исследований обширной территории Восточного Поморья (Кашубское побережье и Поозерье, Словинское побережье, Боры Тухольские, Кочевье, Крайна Злотовская, Нижнее Повислье, Жулавы, Земля Хелмницкая). Она отметила достоинства и недостатки первых научных опытов, предпринятых кашубскими (Шейнова, Дердовский) и польскими (Поблацкий, Рамуль и др.) авторами, а также Гильфердингом. Весьма

обстоятельно были проанализированы исследования второй половины XIX—XX в., проводившиеся в Торуне «Научным обществом» (с 1875 г.), Балтийским институтом (с 1927 г.), кафедрой этнографии (с 1939 г.) и Музеем этнографии, который в настоящее время подготовил Этнографический атлас Восточного Поморья.

Магистр Т. Лясова (Кошчежина) и Р. Тубая (Торунь) в совместном докладе охарактеризовали развитие музейного дела в Восточном Поморье.

Проф. Я. Кухарска (Лодзь) на материале исследований в Польше и Канаде рассмотрела роль наследования культурных традиций в определении этнической идентичности кашубов, живущих в различных географических зонах, на родине и в эмиграции.

Доктор Т. Садковский (Гданьск) посвятил доклад деревянному сакральному зодчеству (на материалах, главным образом, сельских костелов XVIII в.), а доктор А. Блаховский (Гданьск) сделал обзор

исследований кашубской деревянной резьбы и картинок на стекле.

Несколько сообщений были посвящены особенностям некоторых локальных культурных традиций. Магистр А. Квашневска (Гданьск) рассказала о культуре старожилов Жулав (местность в дельте Вислы). Магистр В. Блахарска (Гданьск) рассмотрела состояние исследований культуры населения Тухольских Боров. Магистр Е. Куневски (Гданьск) привлек внимание аудитории к мастерству кузнецов в Кашубах и Кочевье.

После конференции ее участники ознакомились с этнографическим музеем в Оливе и совершили однодневную поездку в Кашубское поозерье, посетили уникальный музей на открытом воздухе под деревни Вдзыдзе, основанный в 1906 г. супругами Т. и И. Гульговскими, наблюдали народный праздник в деревне Шимбарк, посвященный завершению сельскохозяйственных работ — «Обжинки».

Гусев В. Е.

СИМПОЗИУМ С РУМЫНСКИМИ ЛИТЕРАТУРОВЕДАМИ

22—24 октября 1991 г. в Москве состоялся симпозиум «Актуальные проблемы развития литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы». В нем приняли участие литературоведы Института славяноведения и балканистики РАН и Института истории и теории литературы им. Дж. Кэлинеску Румынской Академии. Эта четвертая встреча ученых двух стран проходила под знаком радикальных социально-политических преобразований, разворачивающихся в нашей стране и Румынии. В своих докладах, независимо от их конкретной темы, участники стремились показать, какие перспективы открываются в области их исследований в результате этих перемен, освобождения от навязанных извне идеологических догм и обращения к общечеловеческим «вечным» ценностям.

В докладе М. В. Фридмана «О переосмыслении роли наследия и задачах истории послевоенных литератур» указывалось на острую необходимость объединения усилий во имя спасения человеческой цивилизации. Исключительно важная роль в решении этой задачи принадлежит культуре. Сегодня акцент необходимо ставить не на эстетических или мировоззренческих расхождениях художников

различных стран и эпох, а на их взаимодополняемости. Поэтому речь идет не о простой переоценке устоявшихся канонов и позиций, но об их коренной ломке. Многие подложит пересмотру и в области румыно-русских и румыно-советских связей. Важно, например, учитывать благотворное воздействие на советское литературоведение румынской культуры последних двух десятилетий, где в силу ряда причин было больше простора для критики догматизма, проявлялась большая чуткость к достижениям западной науки и культуры. С другой стороны, новая ситуация в нашей стране, многочисленные публикации открывают огромные возможности для румынских исследователей русской и советской литературы.

М. Ангелеску в докладе «О возможности создания истории литературы послевоенного периода» исходит из принципиального положения Р. Уэллека, согласно которому возможна история литературных форм, литературных институтов, но не собственно литературы. Что касается непосредственно предшествующего современности периода, то главная трудность для исследователя, по мнению М. Ангелеску, состоит в том, чтобы сосредоточиться на анализе самой литературы,

а не «обволакивающего» ее социально-политического контекста. Историк литературы обязан выявить общий литературный фактор ряда произведений, а не социальный, который в лучшем случае может послужить предпосылкой для выбора определенной литературной формы. История литературы должна также постоянно сопровождаться и историей ее критического восприятия в общественном сознании эпохи.

В докладе Т. П. Агапкиной «Румынская литература в Советском Союзе (1945—1960 гг.)» указывается, что эти годы были периодом интенсивного обсуждения произведений румынских писателей в советской критике, именно в это время происходит становление научной румынистики в СССР. Эти положительные процессы, однако, осложнялись установками культурной политики, тенденцией к политизации и идеологизации литературных контактов. Жертвами вулгаризаторских искажений становились даже такие крупные писатели, как И. Л. Караджале и М. Садовяну. Издатели не только распространяли деформированные оценки их творчества, но даже позволяли себе вторгаться в текст писателей-классиков с собственными «поправками». Критически оценивая многие эпизоды в судьбе румынской литературы в СССР после 1945 г., докладчица отметила, что именно в этот период румынская литература упрочила свои позиции в СССР наиболее значительными произведениями.

Демократическая творческая интеллигенция Румынии и в годы правления Чаушеску обращалась к русской и советской литературе. Об этом говорилось в докладе А.-М. Брезуляну «Власть и литература». После 1945 г. в Румынии развернулась пропаганда серой литературы официальных советских писателей, которая вызывала «аллергическую» реакцию румынских читателей. В этих условиях настоящим оплотом духовного сопротивления тоталитаризму стал журнал Союза писателей «Secolul 20» («XX век»). На его страницах публиковались произведения таких нежелательных и запрещенных тогда писателей, как М. Булаков, А. Платонов, Ю. Домбровский и даже А. Солженицын. Таким образом, «Secolul 20» способствовал сохранению реального «образа» русской и советской культуры в общественном сознании Румынии. В 1985 г., когда журнал в очередной раз был закрыт властями с обвинением в «идеологическом соучастии», ему была присуждена премия ЮНЕ-

СКО в знак признания заслуг «в поддержке диалога между культурами».

Одним из наиболее часто употребляемых в румынской литературной печати последнего времени является слово «оппортунизм», отмечалось в докладе Н. Н. Морозова «О так называемом „оппортунизме“ румынских писателей». Обоснованность употребления этого термина рассматривается на примере непростого пути в жизни и литературе поэта Т. Аргези. Приоритет общечеловеческих ценностей требует признать, что творческий дар превышает любых претензий политического режима и обладает самостоятельной ценностью. Сам Т. Аргези в одном из эссе заявил: «Единственная доктрина, в которую я верю ..., это — румынский язык».

В докладе Дж. Мунтяна «Современная румынская литература — воссоединение и оценки» отмечается большой урон, который понесла словесность страны в послевоенные годы в результате эмиграции писателей, их «внутреннего изгнания», а также политического давления на «допущенных» к творчеству литераторов. Тем не менее, на протяжении этого периода румынская литература продолжала развиваться, углубляя свою органическую специфику. В настоящее время необходимы усилия со стороны критики и литературоведения по воссоединению различных составных частей румынской литературы. Дж. Мунтян указал на возникшую сегодня угрозу нового экстремизма, выражающегося в попытках исключить из литературного процесса писателей, вступивших в компромисс с прежним режимом, или в преувеличении литературного значения произведений писателей — активных борцов против диктатуры.

А. А. Гугнин в докладе «Современная немецкая литература — одна или две литературы?» указывает, что после событий 1989—1990 гг. взгляд на ГДР и созданную там литературу существенно изменился. Очевидно, что эта республика была эфемерным, искусственно созданным государством. Однако вопрос о литературе ГДР — сложнее и поддается решению лишь в широком, едином, хотя и противоречивом историко-литературном контексте. Тот факт, что литература ГДР развивалась под идеологическим давлением СССР, создает лишь дополнительные акценты, но не меняет сути. Вывод докладчика: литературы ГДР и ФРГ следует рассматривать как две временно обособившиеся ветви единой немецкой литературы, стремящиеся к слиянию.

А. Нестореску в докладе «Анонимные рукописи XIX в.» показал, что освобождение от шор заидеологизированности открывает новые горизонты даже в работе с литературными произведениями прошлого столетия. Ведь прежние румынские руководители культуры не позволяли углубляться в их изучение, в частности, по той причине, что в текстах той эпохи очевидно влияние русской культуры, церковнославянского языка. Теперь пришла пора сделать эти многочисленные тексты достоянием научной общественности — изучать, комментировать, публиковать.

Возрождение гротеска, характерное для творчества многих европейских мастеров XX в., нашло отражение и в произведениях поляка С. Мрожека, вобравших в себя драматический опыт столетия с его кризисом цивилизации, фашизмом и тоталитаризмом сталинского образца. Об этом говорилось в докладе В. А. Хорева «Под знаком гротеска (о гротесково-сатирических элементах в славянских литературах)». В своих рассказах и драмах С. Мрожек исследовал механизм стереотипного мышления, высмеивая современные историко-культурные мифы, идеологические штампы, так называемые «естественные» рефлексы людей. Гротеск, абсурд, пародия, однако, не являлись самоцелью в творчестве С. Мрожека. В абсурдных, причудливых ситуациях преломлялись уродливые стороны действительности, обнажалась их опасность.

Литература «пражской весны» представляла собой оборванную внешним вмешательством попытку гуманизировать социализм, — отметила С. А. Шерлаимова в докладе «Литература „пражской весны“ в Чехословакии». В произведениях чехословацких писателей тех лет неуклонно нарастало критическое начало, это было время отказа от жестких канонов социалистического реализма, широкого применения новых композиционных и стилистических приемов. Литература «пражской весны» была предметом анализа некоторых чешских эмигрантских и «самиздатовских» критиков и литературоведов. Официальная критика Чехословакии и других восточноевропейских стран, однако, писала об этих произведениях крайне мало и в основном негативно. Между тем, именно литература «пражской весны» предопределила характер всего последующего литературного развития в стране, получила широкое международное признание. Ее изучение — насущная задача и неоплаченный долг литературоведческой науки, в том числе и советской.

В условиях гласности и свободы информации после 1986 г. в венгерской историографии рухнул миф о «контрреволюции» 1956 г. — указывалось в докладе В. Т. Середы «Венгерская литература и 1956 год». Составной частью этого мифа были обвинения в адрес литераторов в «видежной подготовке контрреволюционного мятежа». В действительности же народное восстание в октябре 1956 г. было лишь трагической кульминацией кризиса сталинистской модели социализма, борьба с которой велась не в последнюю очередь и на форумах венгерских литераторов. Критически мыслящие венгерские писатели глубоко проанализировали антигуманную и антидемократическую природу социализма эпохи Сталина и Ракоши. Многие из этих произведений до последнего времени не были доступны для историко-литературного освещения; между тем их рассмотрение дает возможность по-новому оценить период 50-х годов в развитии венгерской литературы.

После ноября 1989 г. в болгарском литературоведении и критике стала очевидной необходимость решительного отказа от конъюнктурных оценок, восстановления приоритета эстетического критерия, возвращения забытых или запрещенных имен, что отмечалось в докладе Н. Н. Пономаревой «Судьба болгарского крестьянина в творчестве Ивайло Петрова». Уже с середины 50-х годов предпринимались попытки выйти за рамки нормативов социалистического реализма. Вместе с тем в процессе пересмотра прежних оценок имеются и серьезные издержки — появляются новые каноны и стереотипы, настораживает полное неприятие некоторыми авторами всей литературы периода после 1944 г., связанной с социалистической идейностью. Недопустимо зачеркивания в истории литературы целого периода, включающего как положительные, так и отрицательные элементы, показана докладчиком на примере творчества прозаика И. Петрова.

В докладе О. Кирилловой «От мифа к литературной игре» рассматривается ряд литературных явлений, встречающихся в так называемых «малых литературах», которые несут отпечаток мифологического мышления. Докладчица рассмотрела творчество югославских (М. Марков, С. Куленович, Ч. Сиярич, И. Андрич) и латиноамериканских (А. Карпентьер, Г. Гарсия Маркес) писателей, оставившись на тех сторонах поэтики первых, которые обусловлены их принадлежностью к балканскому менталитету и типологически со-

поставимы с некоторыми чертами творчества создателей «магического реализма». Это — специфика организации пространственно-временных отношений, ценностная ориентация на идеалы «синкретической правды», структурообразующая функция оппозиции внутренних/внешних, трансформирующейся в оппозицию свое/чужое.

Характерные особенности художественного осмысления опыта послевоенных лет в литературе Словакии осветила Л. Широкова в докладе «Проблема тоталитаризма в словацкой драматургии 60-х годов». Анализ творчества П. Карваша обнаружил, как от яркого показа конкретных аспектов социального развития (в пьесе «Шрам») драматург приходит к более абстрактному образу абсолютной власти, рисует деформированное, больное общество, в котором возникают и воплощаются бредовые идеи. Развитие идеи тоталитаризма в творчестве драматурга отражает и путь ее осознания в обществе — от порицания конкретных проявлений до философского осмысления.

Хотя в польской и советской науке накоплен большой опыт изучения «деревенской прозы», все же ряд вопросов освещен слабо или нуждается в пересмотре, указывается в докладе О. Цыбенко «Польская „деревенская проза“». Новые подходы и проблемы». Докладчик показывает, как в творчестве литераторов, пишущих о преобразовании села, место безусловного одобрения постепенно занимает критические тенденции, усиливается сатирическое начало, концентрируется глубокое разочарование и скепсис. В докладе была подчеркнута необходимость дальнейших усилий по изучению сходства и национальной специфики произведений «деревенской прозы» в литературах восточных и юго-восточных европейских стран.

В работе симпозиума приняли участие сотрудники посольства Румынии в СССР; состоялась встреча с румыноведами (переводчиками, редакторами, исследователями) Москвы; участники симпозиума совершили ознакомительную поездку в г. Владимир.

Морозов Н.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА»

В конференции «История и культура» (13—15 ноября 1991 г.), продолжившей серию, начатую в 1989 г. Сектором историко-культурных проблем ИСБ РАН: «Культура и поэтика» (1989), «Человек в культуре XVIII—XIX вв.» (1990), приняли участие историки, специалисты по истории культуры, философы, этнографы, фольклористы из Института русского языка, Института философии, Института славяноведения и балканистики, МГУ, Института всеобщей истории, Института Дальнего Востока, из научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Иванова, Минска и др. Привлекая специалистов не только в области славистики, но и по проблемам античной культуры, Ближнего и Дальнего Востока, Западной Европы, Сектор стремился расширить границы исследований, ввести круг славистических проблем в контекст мировой культуры. Этим, очевидно, объясняется и «разнотемье», представленное на конференции.

Ответов на вопрос о соотношении истории и культуры множество. Соотношения эти многогранны и выступают в различных ипостасях в сфере науки, общественной жизни, искусства. Об этом говорила в своем вступительном докладе Л. А. Софронова. Особое внимание было обращено на «обратную связь» культуры и истории и на то, как и в каких формах она выражается и может быть обнаружена. Исторической рефлексии в искусстве эпохи Просвещения, проблемам пространства и времени был посвящен доклад И. И. Свириды.

Проблемы философии культуры были представлены в докладах В. Г. Федотовой («Смысл истории как феномен культуры»), Н. Н. Козловой («Битва культурных ценностей и результаты истории») и В. И. Романова («Формирование тоталитарной тенденции в европейской культуре рубежа веков»).

Проблемы культуры Востока и особенностей ее восприятия были затронуты в докладах М. В. Софронова («Миф и культура в Китае») и Н. Б. Кондыревой («Александр Македонский. Взгляд с Востока»).

Выделился в самостоятельный блок ряд докладов, посвященных богемистике. Л. Н. Титова показала, как и когда возникает в общественной мысли и культуре Чехии XIX в. гуситская проблематика, как интерпретируются исторические реалии в историко-культурном контексте. Л. П. Лаптева рассмотрела

чешскую средневековую рукописную книгу как культурно-исторический феномен. Г. П. Мельников подошел к чешским средневековым хроникам как к феномену синкретического историко-культурного сознания и нашел интересные параллели с современностью. Р. В. Непомнящая проанализировала «Автобиографию» Карла IV с точки зрения становления образа властителя в культуре последующего времени.

В. М. Живов представил доклад о двоеверии и особом характере русской культурной истории XVIII в., в котором подверг конструктивной критике многие современные работы по теории и истории культуры. Живой интерес вызвал доклад акад. Н. И. Толстого «Сарматизм: миф — история — национальное самосознание — культура», который в какой-то мере предвосхитил и тему будущей конференции Сектора «Мифология и славянские культуры». Специалист по истории и теории архитектуры И. Н. Духан проанализировал соотношение категории времени для градостроительного произведения и истории. Сообщение Н. Л. Павлова «Древнейшая модель мира в архитектуре индоевропейцев», сопровождавшееся показом слайдов, касалось проблем древнеиндийской, африканской культуры, затрагивало и современность. Предложенная трактовка темы вызвала оживленную дискуссию.

Фольклорная проблематика была представлена докладами С. М. Толстой, рассмотревшей вопрос времени в заговорных текстах, загадках и других малых жанрах; Ю. И. Смирнова («История и фольклор. Народная культура») и В. Л. Кляуса («Исторические реалии в заговорных текстах южных и восточных славян»). О кружке Погодина и его роли в разработке проблем истории культуры говорила А. А. Чумаченко.

Проблема поэтики и семантики «вещи» у позднего Ремизова было посвящено сообщение Т. В. Цивьян. Доклады О. Ю. Тарасова («„Стоглав“ и народная икона») и особенно Е. Б. Громовой («Чудо иконы Владимирской Богоматери 1395 г. в образах культуры рубежа XIV—XV вв.») вызвали интерес новизной подхода и глубиной источниковедческого анализа. С. И. Николаев говорил о барочной аллегории в обряде, о семантике образа рыцаря на похоронах Федора Головина.

Слайдами сопровождался доклад Р. М. Кирсановой «Стиль „воссозданий” и костюм в России XIX в.», в котором было показано, каким образом наиболее динамичный вид искусства — мода, в частности, костюм, реагирует на изменения в общественных настроениях, реализует новые идеи, воспроизводит историю.

Множество вопросов и дискуссию вызвали доклады Н. В. Злыдневой «Осквернение мемориала как историко-культурная проблема» и Н. М. Куренной «Социалистический реализм — тип культуры, творческий метод, образ жизни?». Ряд докладов, не прочитанных на конференции, нашел отражение в сборнике тезисов «История и культура», выпущенном к началу работы конференции: «К происхождению и функциям „гео-этнических” панорам в аспекте связей истории и культуры» акад. В. Н. Топорова; «Исторические аспекты православной живописи на литургические и гимнографические темы» А. И. Рогова; «Рестав-

ратор как революционер» С. А. Иванова и др.

В ходе работы конференции участники в докладах и дискуссии попытались дать ответы на вопросы о том, как культура понимает историю, как трансформирует ее, как историческое событие становится фактом культуры и какие изменения при этом претерпевает, как создаются «образы истории» и как они впоследствии организуют культурное пространство.

В работе конференции, помимо докладчиков, принимали участие аспиранты и студенты исторического факультета МГУ, студенты Московской консерватории, сотрудники академических институтов.

Участниками было отмечено, что конференция является шагом вперед в изучении проблем истории культуры. Серия конференций должна быть продолжена.

Непомнящая Р. В.

ДИСКУССИИ

Васильев М. А. Следует ли начинать этническую историю славян с 512 года?	№ 2
Клюге Рольф-Дитер. По ту сторону европейского сознания? Исторические и современные аспекты германско-славянских взаимосвязей	№ 2
Назаренко А. В. «Натиск на Восток» или «свет с Востока»? История русско-немецких отношений в кругу стереотипов	№ 2
Национальный фактор в международных отношениях в Центральной и Юго-Восточной Европе	№ 1
Случ З. С. «Дело Тухачевского»: велика ли заслуга СД? (по поводу новой книги германского историка)	№ 1
Театр и театральность (круглый стол)	№ 3

СТАТЬИ

Аникеев А. С. Югославия в европейской политике великих держав в годы холодной войны (конец 40-х — начало 50-х годов)	№ 5
Борисенок Е. Ю. Русское земледельческое движение в Чехословакии в 1920-е годы	№ 4
Гаспаров М. Л. Вероятностные ассонансы	№ 6
Гибианский Л. Я. К истории советско-югославского конфликта 1948—1953 гг. Секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года	№ 1
Гибианский Л. Я. К истории советско-югославского конфликта 1948—1953 гг. Секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года	№ 3
Гловинский М. Поэтика и нелитературные тексты	№ 6
Горяинов А. Н. Из забытых «мелочей» журнала «Славянски глас» (1919—1933)	№ 4
Дьяков В. А. Славянский вопрос и русская душа в мировоззрении Николая Бердяева (предоктябрьское десятилетие)	№ 2
Калнынь Л. Э. Фонетическое слово как пространство фонетических изменений в славянских диалектах	№ 1
Калужская И. А. К происхождению рум. <i>bâl, bâlan</i> , алб. <i>balash, baloch</i> и некоторых близких форм в свете славянских параллелей	№ 2
Кодан С. В., Шостакович В. С. Польская ссылка в Сибирь во внутренней политике самодержавия (1830—1850-е годы)	№ 6
Козлитин В. Д. Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1919—1923)	№ 4
Коровицна Н. В. Реиндустриализация, или чешское общество «на пути к социализму»	№ 5
Косик В. И. Из истории начала российской эмиграции	№ 4
Косик В. И. Русская Югославия: фрагменты истории 1919—1944	№ 4
Коссек Н. В. Об «описках» древних переписчиков Евангелий	№ 3
Котова М. Ю. Относительное подчинение в синтаксической структуре словацких пословиц	№ 2
Ланглебен М. Коробкин и Башмачкин	№ 6
Мананчикова Н. П. Купеческий капитал и товарное производство в Дубровнике XIV в.	№ 5
Мароевич Р. Сопоставительная лингвистика и теория перевода как научные дисциплины	№ 1
Мурьянов М. Ф. У истоков христианства у славян	№ 2
Никифоров К. В. Русский Белград (К вопросу о деятельности русских архитекторов-эмигрантов)	№ 4
Никольский С. В. Научная фантастика и искусство иносказаний	№ 1
Паперный В. Из наблюдений над поэтикой Андрея Белого: лицемерие как текстопорождающий механизм	№ 6
Серман И. Андрей Белый и поэзия Н. Некрасова	№ 6
Стыкалин А. С. Идеологическая и культурная экспансия сталинизма в Венгрии (вторая половина 1940-х — начало 1950-х годов)	№ 6
Творогов О. В. Сколько раз ходили на Константинополь Аскольд и Дир?	№ 2
Терехов В. П. Политика Чехословацкой национально-социалистической партии на начальном этапе национально-демократической революции (май 1945 г. — май 1946 г.)	№ 3
Топоров В. Н. О «Бедной Лизе» Карамзина (К двухсотлетию со дня выхода в свет)	№ 5
Чуркина И. В. Словенское возрождение и Россия	№ 2
Шеремет В. И. Опыт исследования кризиса феодально-имперальной системы (экономика и политика в эпоху Восточного кризиса 1870-х годов)	№ 1

Горизонтов Л. П. Евразийство, 1921—1931 гг.: взгляд изнутри	№ 4
Робинсон М. А. Письмо П. Н. Савицкого Ф. И. Успенскому	№ 4
Робинсон М. А., Петровский Л. П., Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «Дела славистов» (по материалам ОГПУ — НКВД)	№ 4

СООБЩЕНИЯ

Аникин А. Е. О славянских названиях птиц (болг. диал. <i>догуличе</i>)	№ 3
Аникин А. Е. Из восточнославянско-восточнобалтийских лексических параллелей	№ 6
Гримстад Кнут. Славистика между фиордами	№ 3
Заборовский Л. В. Недооцененный документ Богдана Хмельницкого?	№ 6
Иванова Т. А. Памяти А. М. Селищева. Старославянское <i>реть</i> — Супр. р. 400. 16	№ 6
Кишкин Л. С. М. И. Горленко-Долина — пропагандист русской музыки в Чехи и чешской в России (забывая страница истории русско-чешских культурных свя- зей)	№ 3
Лабынцев Ю. Греко-«славянские» эпитафии Евфимия Чудовского	№ 2
Пименова И. В. Работники умственного труда — это и есть интеллигенция? (воз- вращаясь к напечатанному)	№ 2
Решетникова О. Н. Ф. Ф. Раскольников глазами болгарской полиции	№ 5
Сегал Д. <i>Slavica Hierosolymitana</i> , или размышления об израильской славистике	№ 5
Фирсов Е. Ф. Национальное и общечеловеческое в наследии Я. А. Коменского в освещении Й. Попеловой (К юбилею Коменского)	№ 2
Яначек Ф. Заметки о «новом издании» «Репортажа с петлей на шее» Юлиуса Фучика	№ 6

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

Досталь М. Ю. О некоторых спорных моментах научной биографии И. И. Срез- невского	№ 2
--	-----

ПОРТРЕТЫ

Бирнбаум Х. Беседа с Борисом Пастернаком	№ 6
--	-----

МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Кравецкий А. Г. Проблемы изучения и обучения	№ 3
Плетнева А. А. Графико-орфографическая система церковнославянского языка	№ 4
Седакова О. А. Введение	№ 3
Седакова О. А. Церковнославянско-русские паронимы	№ 5
Седакова О. А. Церковнославянско-русские паронимы (продолжение)	№ 6
Толстой Н. И. К выходу в свет новых уроков по церковнославянскому языку	№ 3

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Алексеев А.	№ 6
Аникин А. Е. Szemerényi O. An den Quellen des lateinischen Wortschatzes	№ 2
Бибиков М. В., Петрухин В. Я. Свод древнейших письменных известий о славянах	№ 5
Василенко В. Н. Д. С. Прокофьева. «Струн вещей пламенные звуки...»	№ 2
Гудков В. П. Публикации в ознаменование юбилея С. Б. Бернштейна	№ 2
Злыднев В. И. Весела Чичовска. Международна културна дейност в България 1944—1948	№ 2
Конаков Н. К. Э. Г. Задорожнюк. Городское мелкое производство в Централь- ной и Восточной Европе: поиски оптимальной модели, 1940—1980-е годы	№ 5
Крысько В. Б. С. П. Лопушанская. Развитие и функционирование древнерусско- го глагола	№ 3
Лаптева Л. П. Г. Н. Моисеева, М. М. Крбец. Йозеф Добровский и Россия (Па- мятники русской культуры XI—XVIII вв. в изучении чешского слависта)	№ 2
Лебедева О. В. Georg J. Morava. Franz Palacký. Eine frühe Vision von Mitteleuropa	№ 1
Маковецкая Т. Ф. В. И. Косик. Русская политика в Болгарии 1879—1886	№ 2
Мельников Г. П. Л. П. Лаптева. Гуситское движение в Чехии XV в. Учебно- методическое пособие	№ 2
Николаева Е. К., Николаев С. И. Словарь ставропольской литературы (Средневековье. Ренессанс. Барокко)	№ 6
Поп И. И. Древняя история Верхнего Потисья	№ 2
Попков Б. С. З. В. Намавичюс. Лелевель	№ 5

Ритчик Ю., Лаптева Л. П. Два мнения об одной книге. Общение литератур. Чешско-русские и словацко-русские литературные связи XIX—XX веков	№ 6
Софронова Л. А., Лаптева Л. П. Два мнения об одной книге. Л. Н. Титова. Чешская культура первой половины XIX в.	№ 3
Филатова Н. М. О просвещении и романтизме. Советские и польские исследования	№ 6
Фрейденберг М. Krivosić S. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti	№ 2
Фрейдзон В. И. Д. Павличевич. Хорватские домашние задруги. Т. I	№ 6

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Васильев М. А. Никита Иванович Горбачевский	№ 3
---	-----

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Васильев М. А. Международный праздник дней славянской письменности и культуры	№ 2
Гусев В. Е. Народная культура польского Поморья	№ 6
Досталя М. Ю. Одесская конференция памяти В. И. Григоровича	№ 3
Лаптева Л. П. Иллюминированные рукописи гуситского периода (Международный коллоквиум по кодикологическим проблемам в Праге)	№ 2
Мельников Г. П. XI конференция из цикла «Славяне и их соседи»	№ 5
Морозов Н. Симпозиум с румынскими литературоведами	№ 6
Непомнящая Р. В. Конференция «История и культура»	№ 6
Сорабистическая конференция 1991 г., посвященная 40-летию основания Института серболужицкого народоведения в Бауцене	№ 2
Т. Ф. Андрей Белый и его эпоха	№ 6
Тер-Аванесова А. В., Терентьев В. А. Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. Конференция, посвященная 60-летию со дня рождения В. А. Дыбо	№ 2
Чернявский Г. И., Страшнюк С. Ю. Межреспубликанская научная ассоциация болгаристов: перспективы и основные направления деятельности	№ 3
Лаптева Л. П. Академик Иозеф Мацек (8 IV 1922 — 10 XII 1991)	№ 5
Калиганов И. И. Академик Петр Динеков (1910—1992)	№ 5
Новые книги	№ 1
Новые книги	№ 4

CONTENTS

ARTICLES

<i>Kodan S. V., Shostakovich V. S.</i> The exile of the Poles in Siberia in the inner policy of autocracy (the 1830—1850-s)	3
<i>Stykalin A. S.</i> The ideological and cultural expansion of stalinism in Hungary (the second half of the 1940-s — the beginning of the 1950-s)	15
<i>Landleben M.</i> Korobkin and Bashmachkin	27
<i>Serman Ilya.</i> Andrej Belyj and the poetry of N. Nekrasov	34
<i>Papernyj V.</i> Studying the poetics of Andrej Belyj: hypocrisy as a mechanism generating texts	39
<i>Gasparov M. L.</i> The probable assonances	45

COMMUNICATIONS

<i>Zaborovskij L. V.</i> The underestimated document of Bogdan Chmelnickij	49
<i>Lanatek F.</i> On the «new edition» of «The Report with the Loop on the Neck» by Julius Fučík	58
<i>Anikin A. E.</i> From the East Slavic — East Baltic lexical parallels	64

MATERIALS TO THE MANUAL OF CHURCH-SLAVIC

<i>Sedakova O. A.</i> Church-Slavic-Russian paronyms (continuation)	78
---	----

PORTRAITS

<i>Birnbaum H.</i> The Talk with Boris Pasternak	98
--	----

SURVEYS AND REVIEWS

<i>Frejdzon V. I.</i> D Pavlčević. Hrvatske kućne zadruge, T. 1 (do 1881)	104
<i>Ritchik Ju., Laptjeva L. P.</i> Two opinions about one book. The contacts of literatures. Czech-Russian and Slovak-Russian literary contacts in the XIX-th — XX-th centuries	106-108
<i>Nikolaeva E. K., Nikolaev C. I.</i> Słownik literatury staropolskiej. (Sredniowiecze. Renesans. Barok)	110
<i>Filatova N. M.</i> On the enlightenment and romanticism. The Soviet and Polish studies	111
<i>Alexeev A.</i> Die Kuttenger Bibel, 1489	113

SCIENTIFIC LIFE

<i>T. F.</i> Andrej Belyj and his epoch	116
<i>Gusev V. E.</i> The folk culture of the Polish Pomerania	117
<i>Morozov N.</i> Symposium with the rumanian literature researchers	119
<i>Nepomnyashchaja R. V.</i> The conference «History and culture»	123
Index of articles published in 1992	125

Технический редактор *А. В. Рудницкая*

Сдано в набор 11.08.92 Подписано к печати 20.10.92. Формат бумаги 70×100 ¹/₁₆
 Офсетная печать Усл. печ. л. 10,4 Усл. кр.-отг. 10,6 тыс. Уч.-изд. л. 13,0 Бум. л. 4,0
 Тираж 992 экз. Зак. 3153 Цена 1 р. 50 к.

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а
 Телефоны 938-01-20, 938-08-09
 2-я типография издательства «Наука», Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

1 р. 50 к.
Индекс 70891